

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://ulitskaya@ludmila.ru/> приятного чтения!

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая

Рассказы  
БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ  
Счастливые

Каждое воскресенье Берта и Матиас отправлялись к сыну. Берта делала бутерброды, наливала в термос чай и аккуратно обвязывала бумажной веревкой веник. Брала, на всякий случай, банку и все это упаковывала в чиненную Матиасом сумку. Матиас подавал ей пальто, или плащ, или жакетку, и они шли на рынок покупать цветы. Потом у трамвайной остановки они долго ждали редкого трамвая.

С годами Матиас делался все приземистей и все более походил на шкаф красного дерева; его рыжая масть угадывалась по темно-розовому лицу и бурым веснушкам на руках. Берта, кажется, была когда-то одного с ним роста, но теперь она возвышалась над ним на полголовы. В отличие от мужа с годами она становилась как-то менее некрасивой. Большие рыхлые усы, которые в молодости ее портили, хотя и сильно разрослись, но стали менее заметны на старом лице.

Они долго тряслись в трамвае, где было жарко или холодно в зависимости от времени года, но всегда душно. Они окаменело сидели – им всегда уступали места. Впрочем, когда они поженились, им тоже уже уступали места.

Дорога, не оставляя места для сомнений, приводила их к кирпичной ограде, проводила под аркой и оставляла на опрятной грустной тропинке, по обе стороны которой, среди зелени, или снега, или сырого нежного тумана, их встречали старые знакомые: Исаак Бенционович Гальперин с ярко-синими глазками, закатно-малиновыми щеками и голубой лысиной; его жена Фаина Львовна, расчетливая женщина с крепко захлопнутым ртом и трясушимися руками; полковник инженерных войск Иван Митрофанович Семерко, широкоплечий, как Илья Муромец, прекрасно играет на гитаре и поет и такой молодой, бедняга; потом со стершимися бабушкой и дедушкой Боренька Медников, два года два месяца; малосимпатичная семья Крафт, рослые, неповоротливые, белотелые, объявившие о себе вычурно стройными готическими буквами; необыкновенно приветливые старики Рабиновичи с рифмующимися именами – Хая Рафаиловна и Хаим Габриилович, всегда в обнимку, со светло-серыми волосами, одинаково поредевшими к старости, сухие, легкие, почти праздничные, взлетевшие отсюда в один день, оставив всех свидетелей этого чуда в недоумении.

За поворотом тропинка сужалась и приводила их прямо к сыну. Вовочка Леви, семь лет четыре месяца, встречал их много лет тому назад выбранной для этого случая улыбкой, отодвинувшей губу и обнажившей полоску квадратных, не доросших до взрослого размера зубов, среди которых темнело место только что выпавшего.

Все остальные выражения его широкого милого лица, мстя за то, что не они были выбраны для представительства, незаметно ускользнули и улетучились, оставив эту раз и навсегда единственную улыбку из всего неисчислимого множества движений лица.

Берта доставала сверток с веником, развязывала узелок, складывала вчетверо газету, в которую он был завернут, а Матиас смахивал веником пыль или снег с незамысловато зеленой скамеечки. Берта стелила сложенную газету и садилась. Они немного отдыхали, а потом прибирали этот дом – ловко, не торопясь, но быстро, как хорошие хозяева.

На маленьком прямоугольном столике Берта стелила бумажную салфетку, наливала в скользкие пластмассовые крышки чай, ставила стопочку сделанных один в один новеньких бутербродов. Это была их семейная еженедельная трапеза, которая за долгие годы превратилась в сердцевину всего этого обряда, начинающегося с заворачивания веника и оканчивающегося завинчиванием крышки пустого термоса.

Глубокое молчание, наполненное общими воспоминаниями, не нарушалось никаким случайным словом; для слов были отведены другие часы и другие годы. Отслужив свою мессу, они уходили, оставляя после себя запах свежeweымытых полов и проветренных комнат.

Дома, за обедом, Матиас выпивал воскресные полбутылки водки.

Трижды налил он в большую серебряную рюмку с грубым рисунком, пасхальную рюмку Бертинового отца, трижды по-коровьи глубоко вздохнула Берта, не умеющая ответить ему иначе. Потом она отнесла посуду на кухню, особым способом – с мылом и нашатырным спиртом – вымыла ее, вытерла старым чистым полотенцем, и они возлегли на высокую супружескую кровать.

– Ох, ты старый, – сказала шепотом Берта, закрывая маленькие глаза большими веками.

– Ничего, ничего, – пробормотал он, сильно и тяжело поворачивая к себе левой рукой отвернувшуюся жену.

Им снились обычные воскресные сны, послеобеденные сны, счастливейшие восемь лет, которые они прожили втроем, начиная с того нестерпимого, всю жизнь переломившего дня, когда она, измученная дурными мыслями, пошла со своей разбухшей грудью и прочими неполадками к онкологу, не сказав об этом мужу. Старая врачиха, сестра ее подруги, долго ее теребила, жала на соски и, задав несколько бесстыдных медицинских вопросов, сказала ей:

– Берта, ты беременна, и срок большой.

Берта села на стул, не надев лифчика, и заплакала, сморщив старое лицо. Большие слезы быстро текли по морщинам вдоль щек, замедляясь на усах, и холодно капали на большую белую грудь с черными курносими сосками.

Матиас посмотрел на нее с удивлением, когда она сказала ему об этом, – он знал давно, потому что первая его жена четырежды рожала ему девочек, но дым их тел давно уже рассеялся над бледными полями Польши. Ее молчание он понимал по-своему и – что тут говорить – никак не думал, что она сама об этом не знает.

– Мне сорок семь, а тебе скоро шестьдесят.

Он пожал плечами и ласково сказал:

– Значит, мы, старые дураки, на старости лет будем родителями.

Они долго не могли выбрать имя своему мальчику и звали его до двух месяцев «ингеле», по-еврейски «мальчик».

– Правильно было бы назвать его Исаак, – говорил Матиас.

– Нет, так теперь детей не называют. Пусть будет лучше Яков, в честь моего покойного отца.

– Его можно было бы назвать Иегуда, он рыжий.

– Глупости не говори. Ребенок и вправду очень красив, но не называть же его Соломоном.

Назвали его Владимиром. Он был Вовочкой – молчаливым, как Матиас, и кротким, как Берта.

Когда ему исполнилось пять лет, отец начал учить его тому, чему его самого обучали в этом возрасте. В три дня мальчик выучил корявые, похожие друг на друга, как муравьи, буквы, а еще через неделю начал читать книгу, которую всю жизнь справа налево читал его отец. Через месяц он легко читал и русские книги. Берта уходила на кухню и сокрушенно мыла посуду.

– О, какой мальчик! Какой мальчик!

Она восхищалась им, но порой холодная струйка, подобная той, что отрывается зимой от заклеенной рамы и как иголкой касается голой разгоряченной руки, касалась сердца.

Она мыла свою посуду, взбивала сливки, которые никогда не взбивались у соседок, пекла пирожные и делала паштеты. Она слегка помешалась на кулинарных рецептах и совсем забыла о бедной пшеничной каше, расплывающейся по дну алюминиевых мисок,

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru) о жидких зеленых щах, которые варила из молодой жгучей крапивы, сорванной на задах разваливающегося двухэтажного дома, в котором жило сначала сорок восемь, а в конце войны восемьдесят вечно голодных, больных и грязных детей. Она забыла про голубые нежно-шершавые головы мальчиков, их голо торчащие беззащитные уши, тонкие ключицы и синие вены на шеях девочек. Ее острая любовь ко всем этим детям вообще острым лучом сошла на Вовочку.

Каждый день своей жизни она наслаждалась близостью рыженького пухлого мальчика, часто трогала его руками, чтобы убедиться в том, что он у нее есть. Она купала его, он кричал, а она восхищенно смотрела на непропорционально большие ступни и сокровенный маленький конус.

Когда он подрос, она с таким же восхищением наблюдала за его детскими играми, похожими на настоящую и скучную работу, – он часами плел из разноцветных полосок коврики, хитро соединял их между собой. Матиас, варшавский портной парижской выучки, работал в закрытом ателье и приносил сыну лоскутки. Сам же и помогал ему резать их на ленточки. Берта в глубине души стеснялась своей непомерно разросшейся любви, считала ее даже несколько греховной. Не склонная к самоанализу, она не приводила свои ощущения к тому порогу, когда надо их словесно определить, жила, внутренне этого избегая. Матиас приходил с работы, обедал и садился на диван. Вовочка пристраивался рядом, как пирожок, испеченный из остатков теста, рядом с большим рыжим пирогом. Они читали, разговаривали, а Берта суеверно уходила мыть свою сверкающую посуду...

Во сне она легко, как в соседнюю комнату, входила в прошлое и легко двигалась в нем, счастливо дыша одним воздухом со своим сыном. Муж ее, Матиас, с усами сталинского покроя, молчаливо присутствовал как главная деталь декорации. Сны эти походили на много раз виденный спектакль с наркотическим обаянием, который шел долго-долго и всегда кончался за четверть часа до того, как Берта на вытянутых руках внесла со двора Вовочку – бледного, со свежей царапиной на щеке, следом его утренних трудов над моделью самолета, пришедшей на смену хитроумно сплетенным коврикам. Ворот полосатой рубашки был расстегнут, и на шее, целиком открытой и удлинившейся из-за запрокинутой головы, не билась ни одна жилка.

Все произошло мгновенно и напоминало плохой плакат – большой красно-синий мяч резко выкатило на середину дороги, за ним вылетел, как пущенный из рогатки, мальчик, раздался скрежет тормозов чуть ли не единственной проехавшей за все воскресное утро машины. Мяч еще продолжал свое ленивое движение, успев пересечь дорогу грузовику и утратить к движению всякий интерес, а мальчик, раскинув руки, лежал на спине в последней неподвижности, еще совершенно здоровый, со свежей, не выплснувшейся ни на каплю кровью, не остановившей еще своего тока в кончиках пальцев, но уже необратимо мертвой.

Матиас стоял возле маленького настенного зеркала с намыленными щеками и задранной подбородком и, отведя правую руку с тяжелым лезвием, примеривался к трудному месту на шее...

...В седьмом часу старики проснулись. Берта сунула худые серые ноги в меховые тапочки и пошла ставить чайник. Они сидели за круглым столом, покрытым жесткой, как фанера, скатертью. Посреди стола торжествовала вынутая из буфета вазочка с самодельными медовыми пряниками. За спиной Матиаса в углу стоял детский стульчик, на котором пятнадцатый год висела маленькая коричневая курточка, собственноручно перешитая им из собственного пиджака. Левое плечо, то, что к окну, сильно выгорело, но сейчас, при электрическом освещении, это было незаметно.

– Ну что же, сдавай, – сказала Берта и потянулась за очками. Матиас тасовал.

Бедная родственница

Двадцать первого числа, если оно не приходилось на воскресенье, в пустоватом проеме между обедом и чаем, к Анне Марковне приходила ее троюродная сестра Ася Шафран. Если двадцать первое приходилось на воскресенье, когда вся семья была в сборе, то Ася приходила двадцать второго, в понедельник, потому что она стеснялась своей бедности и слабоумия.

Часа в четыре она звонила в дверь и через некоторое время слышала из глубины квартиры тяжелые шаги и бессмысленное: «Кто там?», потому что по дурацкому хихиканью за дверью, да и по календарю, Анна Марковна должна была знать, что

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
пришла Ася.

«Это я пришла, Анечка, я мимо проходила, думаю, загляну, может, ты дома...» – целуя Анечкину полную щеку и не переставая хихикать, избыточно и фальшиво говорила Ася... потому что не было ничего очевиднее того, что это пришла она, Ася, бедная родственница, за своим ежемесячным пособием.

Когда-то они учились в одном классе гимназии, ходили в одинаковых серо-голубых форменных платьях, пошитых у лучшего в Калуге портного, носили на пышных грудях одинаковые гимназические значки «КЖГС», на много лет предвосхитившие собой время повальных аббревиатур. Однако эти ажурные буквы означали не «государственный совет» по "К" и "Ж", который мог быть кожевным или железнодорожным, по моде грядущих лет, но всего лишь калужскую женскую гимназию Саловой, которая, будучи частным заведением, позволяла себе обучать богатых еврейских девочек в той пропорции, которую могло обеспечить реденькое еврейское население насквозь русской полудеревенской Калуги с наглыми козами, блуждающими по улицам будущей столицы космонавтики.

Анечка была отличницей с толстой косой, перекинутой через плечо; в ее тетрадках последняя страница не отличалась от первой, особенно красивой и старательной. У Аси не было такого рвения к учению, что у Ани: французские глаголы, нескончаемые частоколы дат и красивые безделушки теорем влетали в одно ее ухо, полуприкрытое пружинистыми беспорядочно-курчавыми белесыми волосами, и, покуда она рисовала тонко очиненным карандашом карикатуру на подлого преподавателя истории Семена Афанасьевича, вылетали из другого. Ася была живая, веселая и славная барышня, но никто, кроме Анны Марковны, не помнил ее такой...

Глупо накрашенная Ася, слегка подрагивая головой, сняла с себя расшитое черными шелковыми ленточками абрикосового цвета пальто Анны Марковны, которая всю жизнь отдавала ей свои старые вещи и давно уже смирилась с тем, как ловко, иногда одним движением своих прикладистых рук, Ася превращала ее почтенную одежду в лохмотья сумасшедшего. Пришитые Асей черные ленточки в некоторых местах отстали и образовали петли и бантики, и все вместе это напоминало остроумный маскарадный костюм нотной тетради.

Из-под зеленого берета на лоб свисала черная бахрома, гибрид вуали и челки, а на губы была всегда натянута зачаточная улыбка, готовая немедленно исчезнуть – или рассыпаться искательным хихиканьем.

– Проходи, Ася, – приветливо и величественно пропустила ее Анна Марковна в столовую. На ковровой кушетке лежал Григорий Вениаминович, муж Анны Марковны. Он неважно себя чувствовал, пораньше ушел из университета, оставив два лекционных часа своего блестящего курса по гистологии очень толковому, но довольно небрежному ассистенту.

Увидев Асю, он кисло хмыкнул, спросил у нее, как дела, и, не дожидаясь ответа, ушел в смежную со столовой спальню, закрыв за собой двойную стеклянную дверь.

– Гриша себя неважно чувствует, – объяснила Анна Марковна и его дневное присутствие, и исчезновение.

– Я на минуточку зашла, Анечка. В Петровском пассаже есть китайские термосы. Я купила несколько, – соврала она. – Очень красивые. С птичками. Не купить тебе?

– Нет, спасибо. У меня один есть, и он мне совершенно не нужен, слава Богу. – В ее голове термос был связан с поездками в больницу, а не с загородными экскурсиями.

– Как Ирочка? – спросила Ася о внучке.

Ей не надо было каждый раз придумывать вопросов, она спрашивала последовательно о всех членах семьи, и обычно Анна Марковна коротко отвечала, иногда увлекаясь и вкладывая в свои ответы подробности, предназначенные для более значительных собеседников. На этот раз первый же вопрос оказался удачным, потому что Ирочка вчера объявила, что выходит замуж, и вся семья, совершенно не подготовленная к этому, была взволнована и несколько огорчена. И поэтому Анна Марковна начала довольно пространно рассказывать об этом событии, располагая четко, в два столбца, его плюсы и минусы.

– Мальчик хороший, они дружат со школы, он тоже на втором курсе, в авиационном, учится хорошо, внешне ничего, но ужасно длинный, худой, в Ирку влюблен без памяти, звонит каждый день по пять раз, музыкальный – никогда не учился, пришел, сел за пианино, прекрасно, по слуху, любую мелодию подбирает. Семья, конечно, ты понимаешь... – Ася понимающе затрясла головой, – очень простая. Отец – домоуправ, инвалид. Говорят, попивает. – При этих словах Ася довольно уместно захихикала, а Анна Марковна продолжила:

– Но мать – очень приличная женщина. Очень достойная. Четверо детей, два старших мальчика в институте, младшие, близняшки, мальчик и девочка, прелестные... – У Анны Марковны все дети без исключения были прелестными. – Я их видела: чистенькие, опрятные, воспитанные. Сережку мать я знаю давно, она работала в Ирочкиной школе секретарем. Ничего плохого, во всяком случае, про нее сказать не могу. Он, конечно, очень молодой, ни кола ни двора, их обоих еще долго тянуть надо, но не в этом дело. Гриша считает, что они должны жить отдельно. Снимать! Ты представляешь? Ирка, ей надо учиться, а она будет бегать за продуктами, стряпать, стирать, а то и родит... институт бросит! Да я себе этого не прошу!

Наконец Анна Марковна спохватилась, что всего этого Асе знать вовсе не надо. Но Ася сидела с наслаждением на черном дубовом стуле, оперши накрашенную щеку на руку, и счастливо улыбалась, и нетерпеливо дергала веками, выбирая зазор между словами Анны Марковны, чтобы сказать:

– Анечка, а пусть у меня они живут!

– Да ты что, Ася?! – всерьез отозвалась она, представив себе длинную Асину комнату на Пятницкой, в конце коленчатого коридора, возле кухни. Какая-то лавка старьевщика, а не жилье. Все стены в беспорядочно вбитых гвоздях всех размеров, на одном мужское пальто, на другом – блузка, на третьем – открыточка или пучок травы. Запах – невозможный, настоящее жилище сумасшедшего; и повсюду еще стопки газет, к которым Ася питала необъяснимое пристрастие...

Анна Марковна засмеялась, – как это она в первое мгновение об этом серьезно подумала?

Ася в ответ на смех тоже послушно засмеялась, а потом спросила:

– А почему нет? У меня и ширмочка есть. Я бы завтрак им готовила. Пусть живут.

Анна Марковна отмахнулась:

– Ладно, сами разберутся. У Ирочки, в конце концов, родители есть. Пусть подумают хоть раз в жизни, а то он привык, – родители незаметно ополовинились до одного зятя, которого не очень любили в семье, – всю жизнь на всем готовом... Давай чаю попьем, Ася, – предложила Анна Марковна и крикнула в открытую дверь:

– Нина, поставьте, пожалуйста, чайник!.. А какие у тебя новости, Ася? – спросила вежливо и незаинтересованно Анна Марковна.

– Вот вчера я была у Берты. Она хочет Матиасу пальто купить, а он не дается. У них Рая из Ленинграда гостит. Фотографии показывала своих внучек.

– Сколько им лет? – заинтересовалась Анна Марковна.

– Одна совсем большая, невеста, а другой лет двенадцать.

– Да что ты! Когда это они успели вырасти?

Они плели этот житейский вздор, Анна Марковна – снисходительно, с ощущением выполняемого родственного долга, Ася – чистосердечно и старательно.

Вошла с чайником и поставила его на подставку домработница Нина, красавица с перманентными волосами венником на плечи, с двумя заколками на висках.

Далее разговор дам шел по-французски, что всегда приводило Нину в тихую ярость. Она была уверена, что хозяйка ругает ее по-еврейски.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya@ludmila.ru](http://litskaya@ludmila.ru)  
– Наша новая домработница. Очень хорошая девочка. Дусина племянница, из ее деревни. Это она нам после замужества выписала в подарок, – засмеялась Анна Марковна.

– Очень красивая, – залюбовалась на Нину Ася.

– Да, – с гордостью отозвалась Анна Марковна, – настоящая русская красавица.

У Анны Марковны была легкая рука – устраивать жизнь деревенских девушек, своих домработниц. Они учились в вечерней школе, куда их непременно устраивала Анна Марковна, ходили на какие-то курсы, потом выходили замуж и приходили в гости по праздникам с детьми и мужьями.

Чай пили из богатых синих чашек. В розовые розетки из такого странного стекла, что они казались оббитыми, Анна Марковна положила зеленое варенье из крыжовника, сваренное по редкому рецепту, который она считала своим достоянием.

– Какое варенье у тебя красивое! – восхитилась Ася.

– А помнишь наши уроки домоводства?

– Конечно, сама Лидия Григорьевна Салова вела. У меня всегда хуже всех получалось, – с парадоксальной гордостью поддержала Ася.

– Помнишь, торт именинный всегда пекли ей на день ангела? Да, да, – спохватилась Анна Марковна, что много времени даром потратила, – у меня тут для тебя кое-что приготовлено. Вот, ночная рубашка, зашьешь немного, она крепкая, перчатки верблюжьи Гришины, ну и там по мелочи, – не вдаваясь в унизительные подробности, поскольку на стуле были стопкой сложены заплатанные женские трико. Доисторическая сумочка с большим черепаховым замком на устах торопливо проглотила всю эту мануфактуру вместе с четырьмя завернутыми в салфетку кусками пирога и банкой с рыбой. Их часовое свидание приближалось к кульминации – и к развязке. Анна Марковна вставала, шла в спальню, звенела там ключами от шкафа и через минуту выносила оттуда заготовленный заранее серый конверт с большой радужной сторублевкой – не по теперешнему, разумеется, счету.

– Это тебе, Асенька, – с оттенком торжественности передавала она конверт. Ася, которая была намного выше Анны Марковны, по-детски краснела и сутулилась, чтобы придать происходящему правильную пропорцию: она, маленькая Асенька, принимает подарок от своей большой и старшей сестры. В обе руки она брала конверт, набитая туго сумка висела на искривленном запястье, и она пыталась одновременно снять ее с руки, расстегнуть и засунуть большой конверт в набитую туго сумочку. Свидание было окончено. Анна Марковна провожала гостью в прихожую, с колынувшейся сердечностью целовала ее в накрашенную щеку, и Ася, испытывая облегчение, слегка унижающее ее искреннюю любовь и безмерное почтение к троюродной сестре, скатывалась чуть ли не вприпрыжку со второго этажа, легкими худыми ногами отмахивалась по Долгоруковской до Садового кольца и ровно через сорок минут была в Костянском переулке, у своей подружки Маруськи Фомичевой.

На шаткий стол, припертый к сырой стене, она выгружала богатые подарки. Поколебавшись минуту над верблюжьими перчатками, она выложила их, а под стопку с чиненым бельем засунула большой серый конверт.

– Ишь ты, ишь ты, Ася Самолна, балуешь ты меня, – бормотала скомканная полупарализованная старуха.

И Ася Шафран, наша полоумная родственница, сияла.

Бронька

Как рассказывала впоследствии Анна Марковна, Симку прибило в московский двор волной какого-то переселения еще до войны. Извозчик выгрузил ее, тощую, длинноносую, в завинченных вокруг худых ног чулках и больших мужских ботинках, и, громко ругаясь, уехал. Симка, удачно отбредиваясь вслед и крутя руками как ветряная мельница, осталась посреди двора со своим имуществом, состоящим из огромной пятнастой перины, двух подушек и маленькой Броньки, прижимавшей к груди меньшую из двух подушек, ту, что была в розовом напернике и напоминала дохлого поросенка

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru)  
Заселив, к неудовольствию прочих жильцов, каморку при кухне и вынудив тем самым разнести по комнатам хранившийся там хлам, главным образом дырявые тазы и корыта, она не вызвала к себе большой любви будущих соседей, обитателей одного из самых ветхих строений сложно разветвленного двора.

Но операцией руководил управляющий домами Кузмичев, одорукий негодяй и доносчик, и все смолчали. Какой прок Кузмичеву было заселять в каморку Симку, так никто и не узнал, но явно не за Симкину красоту. Видимо, она как-то удачно заморочила ему голову, на что, как выяснилось, она была большой мастерицей.

Симка вымыла общественной тряпкой пол в каморке, – тряпку в жилистых руках она держала с нежностью и твердостью профессионала, – на просохший пол поверх газет положила свою пухлую перину и обратилась к соседке Марии Васильевне с коренным вопросом:

– Послушайте, Мария Васильевна, а вообще где здесь живут интеллигентные люди?

Мария Васильевна, разгадав молниеносно извилистый вопрос, прямым ходом направила Симку к Анне Марковне, и через несколько минут Симка сидела перед белой скатертью, держа в руках синюю кобальтовую чашку с золотым ободком, а бедная Анна Марковна, сочувственно кивая нарядной серебристо-курчавой головой, так что вспыхивал синий огонек то в одной, то в другой длинной мочке, прикидывала, сколько и чего надо дать просительнице и как одновременно оградить себя от ежедневных покушений простодушной нахалки.

Тончайшее взаимопонимание было полным, ибо Симка, рассказывая о своих злоключениях, отчасти вымышленных, виртуозно обходила подлинные события, оставляя то незаполненный пробел, то темную цензорскую вымарку, а Анна Марковна тактично не задавала тех вопросов, которые могли бы расстроить приблизительное правдоподобие повествования. Достоверным было лишь то, что Симка, похоронив мужа, сбежала из доморощенного Сиона, раскинувшегося на берегах Амура, невзирая на все препоны властей, начальств и небесных сил.

Через некоторое время Симка вынесла от Анны Марковны небольшое приданое, в котором было все – от керосинки до мелкой пуговицы. Одновременно с этим Симке было дано понять, что в случае необходимости она может обращаться за помощью, но к чаепитиям ее приглашать не собираются. Симку это вполне устраивало.

Как ни странно, она быстро вписалась в общественную жизнь. Двор принял ее, оценив ее острый язык и совершенно непривычный вид скандальности – с оттенком добродушия и готовности посреди самого крутого соседского междоусобия залиvisto рассмеяться, обхватив руками грудную клетку, в которой самым выдающимся местом был мощный и костистый, как у старой курицы, киль, и трясся рогатым узлом завязанного надо лбом платка.

В карьере ее тоже наблюдался если не взлет, то рост: она по-прежнему была уборщицей, но из конторы управления домами она перешла сначала в заводоуправление, а потом, уже перед самой войной, ее взяли в Наркомздрав.

В работе она была азартна и неутомима, начинала свой рабочий день в шесть утра на казенной службе, потом бежала домой кормить дочку, а потом еще справлять уборку мест общего пользования чуть ли не в половине квартир соседнего, приличного, постройки начала века и заселенного итээровцами дома.

Так вертелась она с пяти утра до поздней ночи и жила не хуже других.

Самой удивительной Симкиной чертой было непомерное тщеславие. Она нахваливала свою половую тряпку, сшитую из мешковины лучшего сорта; развешивая весной для проветривания свою необъятную перину, она раздувалась от гордости так, как будто на веревке перед ней качалась по меньшей мере соболя шуба; она превозносила своего покойного мужа, лучшего из покойников; даже полное отсутствие зубов в собственном рту она рассматривала как интереснейший факт, достойный если не восхищения, то удивления.

Главным пунктом, возносящим ее над всем прочим человечеством, была ее дочь Бронька, которая незаметно росла, лежа животом на подоконнике приподвального окна и разглядывая круглогодично меняющийся куст сирени и неизменно обтрепанные штаны мальчишек, пробегающих мимо окна в поисках неизвестно куда улетающего

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](http://ulitskaya@ludmila.ru)  
деревянного чижа.

Бронька была и впрямь существом особенным, нездешним – с какой-то балетной летучей походкой, натянутым как тетива позвоночником и запрокинутой головой. Материнского нахальства не было в ней и следа. Взгляд ее был всегда вверх или мимо. Первыми бросались в глаза рыжеватые, растительно-пышные волосы да низкий, изысканной фигурной скобкой очерченный лоб, и лишь потом, при особо внимательном рассмотрении, видна была вся прочая ее красота, собранная из мелких не правильностей: чуть под углом поставленных прозрачно-белых передних зубов, немного приподнятой верхней губы и таких больших светло-желтых глаз, что, казалось, они сдавливали переносицу и простирались до висков. И ко всему этому – обаятельно-сонливое выражение, как будто она только что проснулась и пытается вспомнить ускользнувший сон.

На групповой школьной фотографии сорок седьмого года двенадцатилетняя Бронька не смотрит в объектив. Она отвернулась: видна лишь часть щеки и толстая колбаса косы, скрученной над ухом.

Раздельное обучение уже ввели, но формы еще не узаконили. Одеты разномастно, но опытный взгляд определит одну общую особенность – все в перешитом, в комбинированном, в перелицованном.

Впрочем, две девочки в передничках старорежимного покроя. Это Бронька и внучка Анны Марковны, преданной по гроб жизни гимназическим представлениям о мире, заслуживающим глубокого, но запоздалого уважения. Ирочка, в соответствии с идеалами бабушки, в темном платье с белым воротничком, имитирующем грядущую форму, Бронька – в шерстяной кофточке и сатиновых нарукавниках. Все дети мелкие, недокормленные, толстяков нет. Про нарушения обмена веществ стало известно позже, в более сытые бескарточные времена. Бронька стоит немного боком, и заметно, что под фартучком ее проросла вполне заметная возвышенность.

Через два года, в седьмом классе, Бронька была с позором изъята из школы чуть ли не на последнем месяце беременности. Как это ни смешно, беременность Броньки классная руководительница Клавдия Дмитриевна, старая дева с черной круглой гребенкой в макушке, заметила раньше, чем дошла Симка.

Симку вызвали в школу и оповестили.

Симка исследовала и убедилась.

Ее визг и вой оглушил ко всему привычную Котяшкину деревню – так поэтически назывался двор. Звуковая партитура действия, развернувшегося в Симкиной каморке, включала в себя, кроме проклятий на общедоступно-русском языке и малопонятном еврейском, все возможные вокализы на «а-а», «о-о» и «у-у», звон стеклянной и грохот металлической посуды, а также треск кое-какой мебели и шлепки оплеух.

Справедливости ради надо сказать, что Бронька звуков никаких не издавала, что в конце концов так обеспокоило соседей, что они вломились всем миром, облили Симку водой, увели белую и совершенно бесчувственную Броньку, а потом, поочередно и хором, стали внушать Симке, что дело житейское, со всеми случается и не надо так рк убиваться.

Анна Марковна, посетившая знаменитое родительское собрание с бурным обсуждением, самоотверженно заменив свою дочь, женщину слабого здоровья, которую тошнило от одного только приближения к школе, на вопрос внучки Ирочки относительно Броньки сухо ответила, что у Броньки будет ребенок и больше в школе она не появится. При этом Анна Марковна так поджала губы, что стало понятно: никаких увлекательных подробностей Бронькиной биографии сообщено не будет.

Беременность свою Бронька доносила, не выходя из каморки, но, когда родился ребенок, как ни в чем не бывало она вылезла с младенцем на прогулку. Она стояла в палисадничке, чуть левее крыльца, с ребенком в руках, и прогулка ее продолжалась ровно полтора часа.

Первое время дворовые мальчишки пытались высказать ей свое отношение к происшедшему, а также делали разнообразные предложения, связанные с посещением чердака или сараюшки, но Бронька поднимала свои прозрачные глаза, бесстыдно и снисходительно улыбалась и никогда не удостоивала их ответом. Она и прежде была



Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) молчалива, малообщительна и по-своему независима, а теперь она и с матерью почти перестала разговаривать.

Для Симки это было дополнительным мучением. Она долго пыталась дочь, кто осчастливил ее потомством. В душе она лелеяла облегчительную версию изнасилования. Но Бронька молчала как скала, не проявляя никакого смущения. Это приводило Симку в полную ярость, но ничто не могло поколебать этого несколько даже слабоумного спокойствия Броньки. Пожалуй, выражение ее лица можно было назвать счастливым.

Рождение ребенка вместе с нераскрытой тайной отцовства отнюдь не разрушило Симкиного тщеславия. Мальчик, которого назвали Юрочкой, вышел в другую породу – темненький, сероглазый, и Симка, восхищаясь его правильной миловидностью, все всматривалась в его черты, надеясь уловить сходство. С кем? Неизвестно...

Поведение Броньки как до рождения ребенка, так и после было безукоризненным. Она и раньше не толкалась по подворотням и чердакам, не заглядывала в голубятни к проворным молодцам в повернутых назад козырьками кепках, а теперь, при младенце, она пролетала своей балетной походкой в магазин, когда ее посылали за чем-нибудь мать, и совсем уж бегом неслась обратно, боясь оставить младенца без своего личного присмотра на лишнюю минуту. Вечерами обычно она сидела в своей клетушке на кровати и если не кормила, то просто любовалась спящим сыном.

Симка, проникаясь иногда взбалмошным сочувствием к одиночеству дочери, гнала ее из дому: пошла бы, что ли, в гости, к подружкам! Но Бронька пожимала плечами и отказывалась. Те школьные девочки, с которыми она недавно ходила в седьмой класс, смотрели на нее издали округлившимися от ужаса глазами и вовсе не испытывали желания поддерживать с ней отношения. Только отважная Ира подошла однажды к прогуливающей ребенка Броньке и попросила разрешения на него посмотреть. Бронька отвела от лица сына простынку, и ее бывшая одноклассница восхитилась:

– Вот это да! Хорошенький какой!

И ушла, смутно размышляя о том, что при всем ужасающем стыде такого события ребеночек очень симпатичный, а Бронька принадлежит отныне к миру более серьезному, чем тот, в котором пребывают теорема подобия треугольников, выборы в учком и скакание через кожаного козла. Для своих четырнадцати лет, принимая во внимание общую оголтелость того времени, Ира была девочкой неглупой, хотя дружить ей с Бронькой было совершенно «не о чем».

К тому времени как мальчик Юрочка пошел и стал лепетать свои «баба» и «мама», обнаружилось, что Бронька опять крепко беременна. Симка на этот раз не устроила скандала, но произвела строгое разыскание. Она унизилась до того, что расспрашивала Марию Васильевну, не ходит ли кто к Броньке, пока она, Симка, на работе. Соседки, обсудив и осудив на кухонном собрании всесторонне Бронькино поведение, все же единодушно признали, что мужиков к себе Бронька не водила. По крайней мере, никто ее на этом не накрыл. Вела она себя при этом так тихо и скромно, так смиренно и безразлично выслушивала полагающиеся ей всякие слова, что общаться с ней соседям было неинтересно. Пожалуй, ее даже жалели.

Так или иначе, родился второй мальчик, в точности похожий на первого, тоже темненький, смугловатый, с серыми круглыми глазами. Бронька – вместо того чтобы рвать на себе волосы – была совершенно счастлива, играла с детьми, как молодая кошка с котятами, кормила младшего грудью, не отказывала иногда и старшему. Он был умненький и, отсосав дочиста после младшего брата остатки молока, говорил «спасибо».

С самого рождения младшего Юрочка воспылал к нему нежным чувством, которое с годами нисколько не уმაлялось. Дети были улыбочивыми, ласковыми, соседи их любили и баловали чем могли, жалея Симку и дуреху Броньку. Кто совал пирожок, кто печенье.

Виктор Петрович Попов, старый фотограф на пенсии, проживавший одиноко в восемнадцатиметровой, самой большой в квартире комнате, иногда пускал их к себе играть. Они садились на полу, на мелкорисунчатом красном ковре, а он вырезал им из черной бумаги зверей и велосипеды...

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
А Бронька опять стала беременная. Симкина еврейская душа, закаленная в тысячелетних огнях и водах диаспоры, вкупе с собственным дважды переселенческим опытом, не выдерживала этого наваждения: дочь приносила что ни год по ребенку, ни одного мужика не было и в помине. Симка выбивалась из сил. Стала попивать.

Теснота в каморке была такая, что Симка с двумя детьми спала на своей знаменитой перине, а Бронька ставила себе раскладушку на кухне, возле двери каморки, и спала там, привязанная за ногу веревкой, которую Симка, отроду не читавшая Боккаччо, держала в своей крепкой руке. Третья Бронькина беременность, уже всем заметная, не ослабляла тщетной материнской бдительности.

Новенький Бронькин сын Гришка родился в день ее рождения, когда ей исполнилось семнадцать лет. В отличие от своих старших братьев он был болезненным и крикливым. Бронька до года не спускала его с рук. Он несуразно двигал ручками, кривил обиженно рот, и Симка прикипела к нему душой.

Старшие, Юрка и Мишка, целыми днями вертелись на кухне, пока старуха Кротова не вылила однажды на Мишку кастрюлю горячего супа. С этих пор Бронька перестала выпускать их на кухню, и, если погода была плохая, они сидели в комнате старого Попова, который вырезал им из черной бумаги целый мир, населив его диковинными безымянными зверями, читал сказки Андерсена в плохих переводах и никогда не проявлял ни усталости, ни раздражения.

Младшенький постепенно выправлялся, хотя ходить стал поздно, после полутора лет, и задерживался немного в развитии. Бронька возилась с ним больше, чем со старшими, но ее усиленные заботы о детях не помешали ей в положенный срок забрюхатеть. Соседи уж и удивляться перестали такой детородной способности. Симка же к рождению очередного внука стала относиться с той же неизбежностью, как к смене сезона.

Последний сын Броньки, Сашка, был того же смугло-сероглазого образца, родился он незадолго до смерти старого фотографа, и в самый день похорон Симка, Бронька и четверо детей, после небольших поминок и крупного кухонного скандала, разразившегося по поводу самовольного вселения Симкиных потомков в бывшую поповскую комнату, въехали туда и зажили по-царски.

В первый же вечер подвыпившая Симка кричала на кухне Броньке, моющей под краном детские бутылочки, – молока у нее на четвертого не пришло:

– Шлюха ты, Бронька, шлюха! Я смолоду одна из-за тебя осталась! Ты думаешь, я замуж выйти не могла? Рожай, рожай, не стесняй себя! На восемнадцать-то метров этого гороха во-он сколько уложить можно! – и плакала, стряхивала со щек слезы.

Бронька дернулась, бутылочки звякнули о металлическую раковину. Руки ее пошли вверх, она вся запрокинулась и упала на цементный пол.

А потом Бронька успокоилась. Младшему исполнился и год, и три, и Юрочка уже пошел в школу, в ту самую, из которой его когда-то выгнали вместе с матерью. Школа была уже не раздельнополой, а общей. Девочки ходили в гимназических формах, мальчики были стрижены наголо, и только некоторые, богема и вольнодумцы, от молодых ногтей обрекли себя на противостояние обществу, носили прозрачные, как рыбий хвост, чубчики. Учился Юрочка у тех самых учителей, которые учили, да ничему хорошему не выучили его непутевую мать.

Бронька пошла работать в булочную уборщицей. При булочной была пекарня, и кроме зарплаты Броньке давали хлеба – сколько съест, и четверо ее ребят на этом припеке росли один в одного, рослые, крепкие. Даже болезненный Гришка выровнялся, и были они ровные, как дети одного отца.

Во дворе, среди сверстников, они верховодили, да и как было противостоять их братскому фаланстеру. Время от времени отворялась форточка, и Симка хрипло кричала:

– Юрка, Мишка, Гришка, Сашка, домой! – и была какая-то смешная музыка в этом гортанном выкрике. Теперь Симкино тщеславие кормилось от этих исключительных, таких удачных, таких талантливых – слава Богу! – и таких умных – Боже мой! – и здоровых – тьфу-тьфу, не сглазить! – мальчиков.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
Потом настали новые времена. Казалось даже, что именно с Котяшкиной деревни они и начинались. Ходили слухи, что ее снесут. Симка, проницательная Симка, еще загодя устроилась работать в райисполком уборщицей, какая-то комиссия перемерила ей комнату, и оказалось, что в ней не восемнадцать метров, а семнадцать и восемь десятых, и стало приходиться меньше трех метров на человека, и они получили трехкомнатную квартиру раньше всех, еще до всеобщего выселения.

Никто не верил, пока Симка не повезла соседей на эту самую Вятскую улицу, за Савеловским вокзалом, куда ходил трамвай прямо от Новослободской, и показала эту самую квартиру, даже с ванной.

Первое время Бронькины мальчишки часто приезжали в старый двор, а потом привыкли к новому, да и старый стал меняться: ветхие строения, дровяные сараи и голубятни сносили, жильцы разъезжались. Кончились последние остатки провинциальной Москвы с немощеными дворами, бельевыми веревками, натянутыми между старых тополей, и пышными палисадами с бамбуками и золотыми шарами...

Ирина Михайловна, полная и немолодая уже женщина с серебристо-курчавой головой и синими огоньками алмазов в длинных мочках ушей, промахнулась со временем. Она должна была встретиться со своим мужем Сергеем Ивановичем на площади Маяковского в семь часов, но заседание кафедры отменилось, и у нее образовалось окно в два с лишним часа. Ехать домой было не с руки, поскольку они собирались с мужем в гости на другой конец Москвы.

Она приехала на площадь много раньше назначенного времени, намереваясь зайти в магазин «Малыш» и купить что-то внуку, но магазин был на ремонте, и она стояла в растерянности, оказавшись в пустом не запланированном и не расписанном на минуты заранее времени. Она огляделась по сторонам обновленным и бесцельным взглядом и увидела то, чего лет тридцать не замечала: постепенно, исподволь изменилась площадь, мало осталось домов того раннепослевоенного времени, когда она бегала к памятнику на свидание к Сереже; и какая стоит хорошая, дымчатая осень, без сильного света, но и без ранних дождей.

Ирина Михайловна впала в не свойственное ей элегическое настроение. Ей некуда было спешить, было прекрасно.

Она купила зачем-то букет мелких разноцветных астр, улыбнулась его жизнерадостной безвкусице, а потом подошла к филармонической будочке, торгующей билетами, и стала рассеянно изучать большой лист с перечислением абонементов.

Сидящая в будочке женщина, вытянув шею, с не меньшим интересом изучала самое Ирину Михайловну, а изучив, окликнула:

– Ира! Ирочка!!

Ирина Михайловна посмотрела на женщину, и сердце ее защемило: лицо было таким родным, мучительно знакомым, словно бы выученным когда-то наизусть. Фигурная скобка лба, узкий носик, тонкая переносица и по-египетски, до висков раскинувшиеся глаза, – лицо незабываемое и забытое, как многожды виденный сон... в детстве... в детстве... еще одно усилие памяти, еще один нырок на заповедное дно.

– Не узнаешь? – умоляюще улыбнулась женщина, и продольная вмятинка обозначилась на щеке. – Неужели не узнаешь?

– Господи! Бронька! – изумилась Ирина Михайловна, которая мысленно перебирала самых отдаленных родственников по отцовской линии.

– Я, Ирочка, я! Бронька! – И радость в ней была такая, что Ирина Михайловна даже смутилась. А Бронька моргала ресницами и собиралась плакать. Она закрыла окошечко и выбралась из будки. – Подожди, подожди, ради Бога, – зачастила она. – Ты ведь не сплещешь? – с надеждой в голосе спросила она. Выйдя из будки, она оказалась такой же маленькой и худенькой, как в детстве.

Она обхватила Ирину и, уткнувшись ей в бок, уже сквозь быстрые легковесные слезы говорила скороговоркой:

– Ирочка! Ой, Ирочка! Да как же я рада, что ты нашлась! Ты ведь у меня одна подруга была, других не было... Если бы ты знала, что ты для меня в детстве

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) значила... Ведь единственная подруга... Я помню, помню, как ты Юрочку просила показать... И бабушка твоя... она нам помогала... Ирочка, вот радость-то... – Бронька смахнула со щеки слезу.

Ирина Михайловна слегка забеспокоилась: неожиданность узнавания, легкое волнение от касания к детству уже прошло, а Бронька, судя по настораживающе-истерической ноте, была немного не в себе – так показалось Ирине, человеку сдержанному и не расположенному к открытым эмоциям.

– Пойдем ко мне, я тут совсем недалеко, рядом, три минуты, – умоляюще предложила Бронька.

Ирина посмотрела на часы – пустого времени было два часа.

– У меня есть минут сорок, я с мужем договорилась здесь встретиться, – ответила Ирина, а Бронька уже засовывала в большую кожаную сумку кипу билетов и запирала будку.

Тут только заметила Ирина Михайловна, что выглядит Бронька невероятно молодо и одета в зеленый лайковый костюм, которые отнюдь не на каждом углу продаются.

– Пойдем, пойдем же, – теребила Бронька Ирину и уже волокла куда-то через дорогу. – Я тут рядом. А мама, мама как тебе обрадуется... – И снова Бронька говорила о том, как Ира была ее единственной подругой во все времена ее ужасного, невыносимого детства...

– А мама-то жива, подумать... сколько же ей лет? – удивилась Ирина.

– Восемьдесят четыре. Инсульт у нее был, ходит с палкой, скандалит. С памятью не все, конечно, в порядке, забывает, что близко... А прошлое помнит очень хорошо. Не хуже меня, – с оттенком умной грусти сказала Бронька.

Они вошли в хороший, из тех, что прежде назывались генеральскими, дом, в приличную квартиру. Когда хлопнула дверь, раздалось шарканье и стук палки. В коридор вышла Симка, сморщенная, воспаленно-красного цвета, голова ее была повязана косынкой, все тем же фасоном – козой, с двумя рожками надо лбом. Двумя руками она опиралась о палку, подволакивала левую ногу, сухое личико ее было искривлено съехавшим вниз ртом.

– А, это ты пришла, я думала – Лева, – не совсем внятно произнесла старая Симка.

– Мама, Лева уехал в командировку, в командировке Лева, – крикнула Бронька, а Ирине сказала тихо:

– Муж в командировке вторую неделю, а она никак запомнить не может. – И снова, близко к крику:

– Мама, ты посмотри, кто к нам пришел! Это Ирочка, внучка Анны Марковны. Ты помнишь Анну Марковну, в старом дворе?

– А-а, – кивнула Симка. – Конечно, я помню Анну Марковну. Она жива? Нет?

– Давно умерла. Почти двадцать лет, – ответила Ирина, испытывая странное чувство замешательства. – И бабушка, и дедушка, и мамы давно уже нет.

– Анна Марковна была хорошая женщина, – снисходительно, словно от ее мнения зависело нынешнее благосостояние покойной. – Она меня очень уважала, очень уважала, – с гримасой гордого достоинства выговорила с некоторым трудом Симка.

Ирина Михайловна никак не могла вспомнить ее отчества. Не могла – потому что никогда его и не знала. Никто никогда не знал отчества Симки – по крайней мере, в те времена...

Бронька отвела мать в дальнюю комнату. Ирина огляделась: безликое жилье со стандартной, как у самой Ирины, стенкой, множество дорогой музыкальной техники...

– Я чайник поставлю, – сказала Бронька. – У меня конфеты есть «юбилейные», большая редкость теперь...

Широкие рукава шелковой блузки красиво летали за тонкими Бронькиными руками, когда она доставала конфеты с высокой полки. Она подняла руку, поправила заколку в волосах, в русых, еще сохранивших рыжий отсвет волосах, и все жесты ее казались Ирине необыкновенно женственными, красивыми. А Бронька все бормотала свое:

– Ирочка, сколько лет, Ирочка. Боже мой, сколько же лет...

«А Бронька-то красавица», – вдруг догадалась Ирина. Раньше ей и в голову такое не приходило. Была замухрышка на тонких ножках, рыжая, хмурая.

«В те годы мы такой красоты не понимали, – подумала Ирина. – Она была слишком тонка по тем временам».

Бронька поставила на стол синие кобальтовые чашки с густым золотом внутри. Знакомые, знакомые чашки. Ирина очень отчетливо вдруг увидела, как молодая Симка с синей чашкой в руках сидит перед жесткой белизной их семейного стола и как бабушка, склонив набок голову, слушает скороговорную, не совсем понятную речь, пересыпаемую еврейскими словами и резкими жестами, которые все кажутся невпопад, а она, Ирочка, сидит под золоченым круглым столиком в углу комнаты и смотрит на странную гостью через бежевую бахрому скатерти, свисающей до самого пола.

– Как мальчики твои? – спросила Ирина.

– Хорошо, Ирочка. Взрослые. Мало сказать взрослые... Сейчас покажу, – и вынула шкатулку, а из нее пластиковые стопки ярких цветных фотографий. – Это Юрочка, он в Калифорнии живет, вот. Инженер по электронике, какое-то дело у него большое. Богатый. Не по-нашему, по-настоящему. Это жена его, трое детей. Американцы. Девочки красивые, правда? Внучка Джейн. А это Мишка. Он врач-невропатолог. Он там образование получил. Юрочка ему помог. Это мои американцы. Это Мишина жена, китайка. Представь, на китайке женился. У них там, в Америке, все перемешано. Особенно в Калифорнии.

Ирина с интересом смотрела на красивых крепких людей, на неестественно яркую, фальшивую по цвету жизнь, а Бронька взяла скромную стопку черно-белых и продолжала:

– А Гришка и Саша здесь, с нами. То есть не с нами. Гришенька на Вятской живет. Развелся он, как-то неладно у него, а Саша в Ленинграде. Внуков нарожали. Две девочки у нас есть, Джейн у Юры и вот эта, Лилечка, Сашина. А это Левы, мужа моего, дочка от первого брака. Сейчас чай принесу. – Бронька улыбнулась и вышла.

Перед Ириной лежала горка фотографий, так же далеко отстоящих от подлинной жизни, как Бронька в сером деревенском платке, с ребенком, завернутым в тяжелое ватное одеяло, слева от крыльца, почти сорок лет тому назад, – с той только разницей, что эти фотографии были лживы и реальны, а облик Броньки того времени правдив, но не воплотим...

– Ах, как я рада, как я рада тебя видеть, – с простодушным многословием повторяла Бронька. – Но ты расскажи о себе, как ты-то живешь? Что делаешь?

Ирина улыбнулась, пожала плечами, – она жила хорошо.

– Хорошо, – сказала она, – дочка... в аспирантуре, внук, муж профессор, я преподаю... доцент, в институте.

И вдруг в душе ее возникла необъяснимая тень недовольства своей жизнью, неловкости за свое полное и заслуженное благополучие. «Да нет, глупости, – промелькнуло в мыслях, – чего же плохого в том, что родители дали мне хорошее образование и обеспечили всем необходимым для жизни и мы все то же дали своей дочери...» И она, вернувшись глазами к фотографиям, сменила тему:

– Хорошие фотографии... Я очень люблю фотографии...

– Да? – со странным выражением спросила Бронька. – Ты действительно любишь фотографии?

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Ирина кивнула.

Бронька исчезла в смежной комнате, что-то там грохнуло, посыпалось, прошло еще несколько минут, и она появилась, держа в руках довольно большую пыльную папку. Сдула пыль и положила ее перед Ириной:

– Посмотри вот эти.

Ирина развязала тесемку папки. Сверху лежала старинная бледно-коричневая фотография крупного формата.

Совсем юный темноволосый студент со свежими, недавно отпущенными усами сидел в кресле, расслабленно положив правую руку на маленький круглый столик, в центре которого, на месте предполагаемой вазы с цветами, лежала новая фуражка. Смутная улыбка бликовала на губах, бодро сверкали металлические пуговицы необношенного мундира.

На шелковистом коричневом картоне стоял золотой факсимильный росчерк и строгий штампик:

Салонь Теодора Гросицкого, Ново-Ивановский Спускъ. Саратовъ.

– Теодор Гросицкий был из семьи ссыльных поляков, огромный человек, пьяница и задира. Но был он очень добрым и удивительным мастером в фотографии. На спор пошел он в ледолом через Волгу и не вернулся. Утонул. Один из его фотоаппаратов долго хранился у нас, а потом дети его уничтожили, – с неожиданной интонацией смотрителя музея сказала Бронька.

На следующей фотографии, тоже приклеенной на коричневато-серый картон, на фоне темного мелкорисунчатого ковра, подтянув колени к подбородку и обхватив руками маленькие голые ступни, в чем-то светлокружевном, дамском, сидит юная девушка, удивительно похожая на Броньку.

– Красивая фотография, правда? Мастер делал, – улыбнулась Бронька и положила перед недоумевающей Ириной еще одну: из овала смотрела еще одна Бронька, в маленькой, нэповских времен, шляпке с большим бантом; волосы густо лежат на плечах, вид томный и лукавый. Фотография по виду старинная.

– Да, да, я, – подтвердила Бронька. – Пятнадцать лет.

А в руках у нее была уже небольшая, формата открытки, фотография того же красивого студента, на этот раз в косоворотке с незастегнутыми верхними пуговицами, рядом с юной, но как будто слегка располневшей Бронькой, защищенной от солнца пыльным сборчатым зонтом.

– Вот здесь, – Бронька указала в глубь фотографии, – была беседка, оттуда – спуск к реке. После дождя глиняные ступени становились ужасно скользкими, и поставили легкие металлические перильца, выкрашенные в белый цвет.

«Бред какой-то. Видимо, это какая-то очень похожая женщина на фотографии, а Бронька... Бронька на почве этого сходства сошла с ума», – объяснила себе Ирина странные Бронькины слова.

Рядом легла еще одна фотография, с уже знакомым сюжетом: тот же молодой студент в кресле, те же крупные и мелкие складки занавеса, но по левую сторону, симметрично, в таком же кресле сидит тоненькая девушка с подобранными вверх, закрученными на широкую ленту дымчатыми волосами. Она смотрит на молодого человека, он смотрит в объектив. Девушка все та же.

– Странно, не узнаешь! И это я. А фотография сделана в одиннадцатом году, и я прекрасно знаю все обстоятельства этого дня, и дом, и улицу, где все это было...

«Определенно сумасшедшая, – подумала Ирина. – Нелепость какая-то или детское бессмысленное вранье?»

Бронька правильно прочла Ирины мысли.

– Нет, я не сумасшедшая. Рассказать? – Бронька опустила подбородок в ладони,

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) оттянув вверх щеки. Лицо ее окитаилось, но не стало некрасивым. – Действительно рассказать?

Ирина кивнула.

– Ты, Ирочка, единственный человек, который еще может его помнить. Скажи, помнишь Виктора Петровича Попова?

– Попова? – переспросила Ирина. – Нет, не помню.

– Старый фотограф, он иногда ходил к твоему деду в шахматы играть. Высокий, худой, по виду барин. Не помнишь?

– Нет. К деду много народу ходило. Ученики, друзья. А в шахматы он играл обычно со своим ассистентом Гречковым. Попова не помню, нет.

– Жаль, – вздохнула Бронька. – Впрочем, теперь это неважно, фотография эта – монтаж. И эта, – она ткнула пальцем в себя с зонтиком. – Здесь он был со своей сестрой. Он очень любил меня фотографировать. Он был не просто фотограф, он был художник, актер снимал, и для музеев фотографии делал. Что-то он переснимал, клеил, ретушировал. Один раз театральный костюм принес, – сфотографировал меня в нем. Он, Ирочка, считал меня красавицей. – Бронька засмеялась тихим глуповатым смехом. – Ты правильно, правильно подумала. Конечно, я сумасшедшая. В детстве я была совершенно сумасшедшая. Жила как во сне. Как в кошмарном сне. Мне все казалось, что вот проснусь, и все будет хорошо и правильно. Хотя как правильно – я понятия не имела. Я только твердо знала, что не могут так люди жить, как мы жили. Так есть, спать, разговаривать. Мне все казалось – сейчас это кончится и начнется другое, настоящее. Я все ждала, каждую минуту, что все это распадется и исчезнет и настанет новая, правильная жизнь, без этого безобразия... А, ты этого не знала. Белая скатерть и синие чашки на столе – о чем моя мать мечтала, это же все у тебя было, может, ты и не знаешь этой детской тоски, а может, это было такое психическое расстройство.

Ирина внимательно слушала Броньку – ошеломленно и с тонкой неприязнью: не должно было быть у этой маленькой бывшей потаскушки, посмешища всего двора, таких сложных чувств, глубоких переживаний. Это нарушало представления о жизни, которые были у Ирины Михайловны тверды и плотны...

– Ах, как жаль, что ты не помнишь Виктора Петровича, – продолжала Бронька. – Он был наш сосед. Мать просила его, чтоб он помог мне по математике, я стала ходить к нему в шестом классе. Ира, он обращался ко мне на «вы»! Он ко всем обращался на «вы»! Вокруг него, как это тебе объяснить, была другая жизнь, и она не касалась той, которой жили все остальные... Он ото всего был как-то огражден, относился с уважением ко всем, даже к кошке. Хамство ужасное и грубость, ты даже представить себе не можешь, какое хамство, а его это не касалось. Я приходила к нему – по алгебре ничего не соображаю и соображать не хочу. Хочу сидеть за его столом и не уходить. У него в комнате – как на острове. А я тупая была! Ничего не понимала, а от этих буквочек алгебраических у меня такое отвращение было. А он терпелив необыкновенно, ни одного раздраженного слова.

Однажды он показал мне фотографии – старые семейные фотографии, вот эти. И рассказал. О своем отце, о матери, о Теодоре Гросицком, о кузинах... Господи, что со мной стало! Как я плакала... Виктор Петрович испугался, понять не может: «Что с вами? Что с вами?» А я на фотографиях и в рассказах узнала ту жизнь, которая должна... которую я все ждала... не знала, что она прошлая, а не будущая и ко мне вообще отношения не имеет, а мне – вот все это невыносимое, что в нашей квартире, в нашем дворе...

Ира, я влюбилась. Я влюбилась в него, молодого, на этих фотографиях. Если б я не влюбилась, я бы, наверное, повесилась в каком-нибудь дровяном сарае, так было невыносимо!

А Виктор Петрович, он и в старости был очень красив, очень. С тех пор я не встречала таких красивых людей. Теперь я понимаю, что в молодые годы – видишь ту фотографию – он не был так красив, как в старости. Но это теперь. А тогда я смотрела как раз наоборот – видела в нем этого студента в новеньком мундире. Он был для меня Богом, Ирочка.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
Когда я поняла, что люблю его и что никого другого не полюблю, потому что никакого другого – такого! – нет на свете, тупость моя прошла, я стала сообразительна и остра. О возрасте же – и моем, и его – я совершенно не задумывалась, а замечу тебе, что Виктору Петровичу было тогда, к началу нашего романа, шестьдесят девять лет. А мне не было и четырнадцати. А страсти были – не дай Бог! Кровь южная, горячая... У Виктора Петровича тоже кровь не простая – мать грузинка, княжна грузинская.

Первое время я изнывала и страшно томилась.

Ему, конечно, невдомек, Однажды прихожу я к нему, алгеброй заниматься, а у него дама знакомая, в розовом костюме, в пудре... Он попросил меня зайти завтра, и до завтра я не сомкнула глаз. Ужасные минуты ревности я пережила. Ночь не спала – и зарядилась я в эту ночь на одно – совратить Виктора Петровича. Слов я таких, конечно, не произносила, это теперь могу так оценивать, а тогда – буря в душе. Сказать я ему ничего не могла. Я ведь тогда почти совсем не разговаривала. Писать мне казалось еще ужасней. И что писать-то? Я встала среди ночи, в одной рубашке, босиком. Мать спала как убитая, а я – к нему, по темному коридору, вся трясусь от страха не перед темнотой, перед самой собой... И я его победила, Ирочка. Не без труда. Отдать ему надо должное – он сопротивлялся.

Бронька улыбнулась. Ирина покачала головой и тихо сказала:

– Представить себе не могу. Как в романе каком-то...

– Он меня очень любил, Ира, – вздохнула Бронька. – Очень. Если бы открылось, его бы посадили за растление. Хотя сажать надо было меня, это я его обставила. Ну, я, конечно, скорей бы повесилась, чем кому-нибудь рассказала. Я берегла его. Никто на него не думал. Хотя мы с детьми у него много времени проводили.

А когда Юрочка родился, я выйду, стану возле его окна, а он в кресле сидит, через занавеску на нас смотрит. Сколько мы гуляем, столько он на нас смотрит...

Ирина сидела с синей чашкой в руке, на золотом ободке отпечатался след ее малиновой помады. Она слушала Броньку как сквозь сон, как сквозь воду.

– Молодые люди так не умеют любить. Вообще теперешние мужчины. Это я потом узнала. После его смерти много лет прошло, прежде чем я на мужчин смотреть стала. Да и некогда мне было, понимаешь сама.

Умирал Виктор Петрович три дня. Умер от пневмонии. Трудно ему было. Задыхался. Я от него не отходила. Он глаза открыл и говорит: «Душа моя, спасибо. Господи, спасибо». Вот и все...

А мать моя была очень догадлива, она сразу догадалась, что я на комнату Виктора Петровича мечу. И пока он умирал, она мне не мешала, даже в комнату не входила. Детей держала, только под конец он попросил, чтобы пришли. Ну, Сашеньке-то всего два месяца было... Такие дела, Ирочка. Тайна моя, за которую я бы умерла тридцать лет назад, теперь ничего не стоит. И никому не интересна. Никому давно не интересно, кто отец моих детей. Даже маме...

Ирина Михайловна посмотрела на часы. Муж уже ждал ее на Маяковке.

– Спасибо тебе, Броня. Я опаздываю, меня муж ждет. Я рада, что мы встретились.

Бронька проводила ее к двери.

– Нужны будут какие-нибудь билеты, заходи. Я все могу достать. Спасибо тебе. Такая радость.

Они поцеловались. Ирина ушла. Телефонами они не обменялись.

...Стояла все та же дымчатая осень, и день недели был тот же, и год, но Ирина Михайловна несла в себе какое-то глубокое и горькое изменение и никак не могла понять, что же произошло... Ее собственная жизнь, и жизнь родителей, и жизнь дочери показались вдруг обесцененными, обесцвеченными, хотя все было достойно и правильно, – старики в их семье умирали в преклонном возрасте, взрослые были здоровыми и трудолюбивыми, а дети – послушными...



И вспомнила, вспомнила Ирина Виктора Петровича, худого обтрепанного старика с твердым бритым лицом, чистыми усами, светлыми глазами в складчатых кожаных мешках и черно-серебряным перстнем на желтой руке...

И нелепая, дикая, ничем не объяснимая зависть к Броньке зашевелилась в ее сердце. Впрочем, всего на одну минуту.

Генеле-сумочница

По темпераменту тетя Генеле была общественным деятелем, но крупные задачи ей в жизни как-то не подвернулись, и по необходимости она занималась проблемами относительно мелкими, в частности следила за чистотой северо-западного угла дворового довольно обширного скверика. Собственно, масштаба ее хватило бы и на весь сквер, но она предпочитала взять более мелкий участок, но зато уж здесь добиться совершенства. Тетя Генеле очень любила совершенство.

Как только слегка подсыхала грязь, она, увязая ботинками в замаскированных послезимним сором лужах, притаскивалась на свою позицию – еще не покрашенную скамью возле разрушенного фонтана – и садилась поджидать нарушителей.

Весенняя предпраздничная уборка еще не началась, и дорожки были покрыты линялыми конфетными обертками, разбухшими окурками и мелкими, наскоро использованными предметами бесприютной любви.

Время было еще мертвое, посетители редко заглядывали в сквер, но Генеле начинала свой сезон загодя, опережая первого посетителя на день-другой.

На этот раз первым зашел мужчина с портфелем, сел неподалеку, закурил и бросил спичку за спину. Генеле вся встрепенулась, как охотничья собака, и, сладко улыбаясь, сделала пристрелку:

– Гражданин, от вас урна в двух шагах, неужели трудно?

Гражданин непонимающе посмотрел на нее озабоченными отвлеченными глазами:

– Простите, вы что-то сказали?

– Да, – раздельно и наставительно произнесла Генеле, – от вас урна в двух шагах, а вы бросаете спичку прямо на землю!

Он неожиданно засмеялся, встал, поднял спичку, которая свежо белела среди потемневшего серого мусора, и бросил ее в урну.

Старуха разочарованно отвернулась: дичь была ненастоящая. Мужчина покурил и ушел, бросив окурочку куда положено.

– Всегда бы так, – проводила она его презрительным словом, полная уверенности, что следующую спичку без ее надзора он все равно бросит мимо урны.

Потом пешком пришли три опухших потрепанных голубя. Вид у них был похмельный. Генеле вытащила из хозяйственной сумочки банку с размоченным хлебом, который она собирала по соседям, – у нее у самой никогда хлеб не заваливался, – намяла хлеб и ровно разделила на три порции. Но глупые птицы справедливости не понимали, а может, были убежденными коллективистами. Отталкивая друг друга, они кинулись втроем на ближайшую кучку и жадно расклевали ее, а двух других и вовсе не заметили.

Генеле пыталась обратить их внимание на пищу, но, как всегда, осталась непонятой.

Она дождалась обеденного времени и, когда проглянуло чахлое солнышко, потащилась на кривеньких костяных ногах к себе домой. Настроение у нее было прекрасное – межсезонье закончилось, и она ощущала душевный подъем. К тому же после обеда наступало время исполнения ею главного жизненного долга – визита к родственникам. Ходила она к ним по графику: сестра Маруся, племянница Вера, племянница Галя, внучатая племянница Тамара и племянник Виктор составляли один цикл, второй возглавлял брат Наум, проживающий с неженатым и немного неудачным сыном Григорием. Потом следовали племянник Александр и племянница Рая. Были еще

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) две бездетные сестры, Мотя и Нюся, а замыкала родственный круг Анна Марковна, родственница дальняя, но в глазах Генеле достойная визитов.

Так как родственников было достаточно много, то Генеле попадала в один и тот же дом обыкновенно не раньше, чем через месяц. И с этим все мирились, понимая, что она выполняет функции некоего цемента, не позволяющего семье окончательно распасться.

Маленькая, опрятно одетая, белокудрявая, она входила в дом и произносила фразу, которая на первый взгляд казалась комплиментом, что-нибудь вроде:

– Маруся, в прошлый раз ты так прекрасно выглядела...

Она была гением по этой части: никогда никому она не говорила ничего неприятного, только комплименты, но все же они были какие-то подпорченные.

– Ах, если бы вы знали, какой у Шуры сын! Круглый отличник, одни сплошные пятерки! Но вы же понимаете, какой теперь в школе уровень?

– Ах, Галя! Очень вкусный пирог! Если бы ты знала, какие пироги с капустой печет Рая, это просто объедение! – восклицала она, доедая пирог, испеченный как раз Галей.

Она входила в дом, увешанная мелкими хозяйственными сумочками, а под левым локтем у нее плотно сидела большая дамская сумка, с которой она никогда не расставалась. Именно из-за нее она и получила свое прозвище – Сумочница.

Сумка эта была привезена из Швейцарии еще до Первой мировой войны состоятельной тетей, изучавшей в Цюрихе зубоврачебное дело. Изначально эта сумка была коричневого цвета, темного, с богатым лиловым оттенком и шелковым блеском. С годами она сначала темнела, стала почти черной, а потом вместе с хозяйкой начала сесть и приобрела неопределимо изысканный желтовато-серый цвет. Сумка эта несколько раз входила в моду и выходила из нее. На заднем фасаде был глубокий шов, заделанный тщательной рукой хозяйки, – однажды, в сорок четвертом году, сумочка подверглась ножевому бандитскому нападению и пострадала. На замке растительно и вяло извивались линии умирающего модерна, тонкие узловатые пальчики хозяйки легко вплетались в этот узор, изношенная кожа обеих, казалось, происходила от одного и того же вымершего животного.

Драгоценную свою сумочку Генеле прилюдно никогда не раскрывала, а вот из многочисленных хозяйственных она доставала самодельный гостинец – капусту-провансаль, которую она готовила по какому-то немыслимому рецепту из семнадцати компонентов, среди которых попадались странные вещи: корень петрушки, изюм и лимонные корочки.

Некоторые родственники считали, что знаменитая капуста – чистая отравка, но никому не приходило в голову отказаться от приношения, подносимого обыкновенно с таинственным и взволнованным видом.

Пенсия у Генеле, как всем было известно, составляла смехотворно мизерную сумму, однако она никогда не жаловалась на недостаток в деньгах, а, напротив, вела себя с достоинством богатой родственницы. Своих племянниц, а впоследствии их дочек она наставляла в тонких законах ведения домашнего хозяйства, полагая себя корифеем в этом высоком жанре.

– Покупать надо понемногу, но самого лучшего, – просвещала она неразумных племянниц, и однажды она дала Гале, своей любимице, незабываемый урок закупки продовольствия.

Генеле привела ее на Тишинский рынок в воскресенье, к концу торговли, приблизительно за час до закрытия рынка.

– Первым делом надо все обойти и хорошенько рассмотреть. Заметь себе для памяти, у кого самый лучший товар. Второй круг – ты уже знаешь, у кого самое лучшее, – теперь ты интересуешься ценой. А с третьего раза покупаешь, и никогда никакой ошибки ты не сделаешь.

И Генеле с пылающими глазами летала по рынку, приглядываясь, ругала товар,

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) хвалила погоду, какой-то толстой украинке, спешащей на поезд, желала доброго здоровьечка, успела обозвать унылого длиннолицего восточного человека «сумасшедшим на всю голову»; она размахивала руками, теребила петрушку, мимоходом объясняла Гале, что морковь надо выбирать только с круглым кончиком, мяла увядший баклажан, нюхала острым носом огурцы «с пипыршками», как она их называла, ругала засол, растирала между большим и указательным пальцами каплю меда и шептала племяннице:

– Чистый мед впитывается весь, без остатка, а если остаток, значит, нечистый!

У простенькой подмосковной бабушки она купила морковь, свеклу и две репки за половину уже сниженной цены, а в придачу получила еще и последний кривой кабачок, который отложила в свою сумочку, считая его законной комиссией за покупки, которые оплачивала Галя.

– Мне нужно сто пятьдесят грамм, – требовала она у продавщицы, но та, не привыкшая обращаться с такими малыми количествами, сбросила с ножа на весы тонкий пласт слоистого творога, который весил почти триста.

– Зачем мне столько, мне нужно сто пятьдесят! Неужели я не могу взять сколько мне нужно, а? – настаивала она, и флегматическая продавщица заворачивала в белую бумагу творог и презрительно ворчала:

– Да ладно уж, я не обедею.

А Генеле, победно глядя на Галя, шепотом вещала:

– Ну, ты понимаешь? Голову надо иметь! Голову! Я же вижу по ее повадке, она такая ленивая, что ей лень даже обратно отложить. А сто пятьдесят грамм они вообще положить не могут, всегда больше!

Галино бледное лицо покрылось красными нервическими пятнами, она умоляла уйти, то Генеле вошла в раж. Она хотела показать свой талант в полном блеске и, увлеченная, уговаривала продавщицу из базарной кулинарии скинуть ей полтинник на казенном гуляше...

Галя всю жизнь с ужасом вспоминала тот поход, рассказывала о нем своим дочерям. Тетушкины высказывания того базарного дня вошли в семейные устоявшиеся шутки. При упоминании моркови обязательно кто-нибудь из домочадцев спрашивал: «С круглым кончиком?», огурцы назывались «пипырчатые» или «совершенно не пипырчатые»...

А жила Генеле в глубочайшей нищете. Впрочем, если бы кто-нибудь ей намекнул на это, она бы удивилась. Потому что она жила именно так, как хотела Среди бесчисленного множества людей, живущих вынужденно, связанных разного рода узами, она была так независимо одинока, что даже свои родственные визиты рассматривала как дань людям, которые нуждаются в общении с ней, в ее советах и наставлениях.

Ее бедность несла монашески-радостный оттенок, чистота в ее длинной одиннадцатиметровой комнате была праздничной и даже вызывающей: так жестко топорщилась белая накрахмаленная салфетка на маленьком столике с провощенными ножками, медицински пласталось белое покрывало, так официально-приветливы были суровые чехлы на двух белых стульях...

В гордой своей нищете она неукоснительно выполняла свой главный принцип – покупать все самое лучшее. Поэтому, не ленясь, она отправлялась через день в Филипповскую булочную и покупала там лучший в мире калач, – ей хватало его на два дня. Потом она заходила в Елисеевский и покупала там сто граммов швейцарского сыра. Относительно сыра у нее было подозрение, что бывают сыры получше. Но здесь, в России, лучшим был этот самый швейцарский, из Елисеевского.

Остальную пищу составляли гречневая и пшенная каши, про которые она скромно говорила, что лучше ее никто не умеет их готовить. Это было похоже на правду. Заправляла она свои каши постным рыночным маслом и съедала за обедом четвертинку яблока или луковицы или маленькую морковку с круглым кончиком.

В год раз, на Пасху, она покупала курицу. Собственно, эта курица и была Пасхой. В день покупки она вставала на исходе ночи, долго и тщательно собиралась, в

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru крепкую шелковую сетку засовывала черную витую веревку и стопку газет и в пять утра отправлялась из дому. Первым трамваем она доезжала от Покровки до Цветного бульвара и приходила на Центральный рынок минут за двадцать до его открытия. Долго, иногда часа два она ждала «своего» продавца, одноглазого бурого еврея, промышлявшего редким по нынешним временам делом – торговлей живым вхохочущим товаром. Видимо, как и у Генеле, у продавца были свои прихотливые законы жизни. Так, он не любил выкладывать на прилавок больше одной курицы. Генеле, со своей стороны, подчиняясь своему закону, не могла купить курицы, даже самой великолепной, не ощупав подробнейшим образом всех остальных.

Она поджидала, пока старик неторопливо отпарывал толстую серую тряпку, пришитую к большой овальной корзине, и, запустив руку, не глядя вытаскивал за связанные нога первую курицу. Генеле опиралась локтем о прилавок и говорила равнодушным голосом человека, случайно проходившего мимо:

– А-а, явился, не запылится... Это что, курица?

Одноглазый не достаивал ответом.

Генеле, прижимая крепче локтем левой руки антикварную свою сумочку, принималась за курицу. Более всего ее манипуляции напоминали серьезный медицинский осмотр. Она заглядывала курице в остановившиеся глаза, раскрывала клюв, исследовала горло, ощупывала грудку и зад. Разведя ей крылья, она, казалось, просматривала своим рентгеновским взглядом ее птичью душу. Потом небрежно отодвигала ее.

– И это все, что у тебя есть? – пренебрежительно спрашивала она.

Одноглазый молча опускал руку в корзину и вытаскивал следующую...

– Что это ты мне показываешь? Сразу убери! – обижалась Генеле. И продавец, поджимая и без того узкие губы, прихватывал под прилавком еще одну...

Она выбирала ее – как невесту единственному сыну. С трепетом великой ответственности и страхом перед непоправимой ошибкой. Она помнила о своем необъяснимом пристрастии к черно-серым пеструшкам и старалась сохранять объективность, чтобы пристрастие это не исказило точности выбора. Ведь достойнейшей избранницей могла оказаться и белая, и ржаво-коричневая.

Старик испытывал к вьедливой покупательнице внутреннее раздражение, смешанное с возрастающим уважением. Он тоже понимал в курах – в отборных, кормленных чистым зерном почтенных пасхальных курах. Он понимал, что старуха выберет действительно лучшую, и про себя прикидывал, какую же она выберет. Он помнил ее уже много лет и знал, что она не ошибается.

Избранница наконец определялась. Состоялся долгий торг. Генеле доставала из заветной сумки новые деньги, и царская невеста, сохраняя неестественное положение вниз головой, переходила в руки Генеле, которая заворачивала ее во многие газеты, потом в чистую белую тряпку, потом в сетку и, наконец, в хозяйственную сумку.

После всех этих манипуляций Генеле ехала в Малаховку к резнику, выстаивала очередь из двух десятков единоплеменниц к сарайчику на задах двухэтажного солидного дома, сдавала на руки маленькому толстому еврею в ермолке бессловесную жертву и ожидала, пока резник прочтет над курицей короткую извинительную молитву и выпустит на волю ее глупую птичью душу, обитающую, как говорили, в небольшом количестве крови, толчками не остановившегося еще сердца изливающейся на цинковый поднос.

Вся сложная вера предков, многочисленные ограничения и запреты, потерявшие за тысячелетия их некогда рациональный смысл, была связана у Генеле с этой безмозглой чистенькой птицей, олицетворяющей собой пасхального агнца...

Впрочем, на этом месте все уподобления заканчивались, поскольку начиналась суетная кулинария. Одна-единственная курица в ее умудренных руках превращалась во множество яств: бульон с клецками из мацы под названием «кнейдлех», и фаршированную шейку, и куриные кнели, и паштет из печенки, и даже заливное. Как это ей удавалось? Удавалось... Между куриными делами и рыба фаршированная

Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya@ludmila.ru](http://litskaya@ludmila.ru) образовывалась, и кое-какие в меду сваренные орешки из теста.

А потом она все паковала в баночки, в кастрюльки. Что надо теплым, то укутывала. Все увязывала, уплотняла газетными валиками, чтобы не опрокинулось, и везла к брату Науму отпраздновать Пасху. Бутылку кагора покупал брат.

Он был дважды вдовым непроходимым неудачником. После смерти первой жены, умершей рано, он женился вторично, чтобы новая жена растила его не взрослых еще детей, но она скоро заболела каким-то зловредно-медленным раком и годами умирала, не принося семье пользы, а, напротив, истощая последние Наумовы силы на бесплодное сострадание. Невезучесть его распространялась и на детей, особенно на сына Григория, который родился удачным и здоровым, но претерпел сильный удар электричеством и с тех пор стал слабоумным.

В этот бедующий дом и относил Генеле свои пасхальные дары, чтобы, отслушав наскоро читаемую Наумом известную историю исхода из Египта, не спеша посидеть за праздничным столом и насладиться мудрым миропорядком, в котором отведено место и суетным хлопотам, и достойной праздничной трапезе, и Единому Богу с его посыльным Ангелом, обходящим, как письмоносец, дома детей избранного народа, и слабоумному Григорию, радостно улыбающемуся всем своим блестящим от куриного жира лицом...

И вот в тот самый день, о котором идет речь, Генеле с тремя сумками, наполненными пасхальной снедью, вышла из подъезда своего дома, намереваясь ехать к Науму, и повернула не в ту сторону. Она дошла до угла, искала глазами трамвайную остановку – и не нашла ее. Она не узнавала перекрестка, чуть ли не с детства ей знакомого.

– Боже! Как я попала в чужой город! – ужаснулась она и стала медленно падать, крепко прижимая к себе коричневую сумочку и не выпуская из цепких пальцев драгоценных авосек.

Так, вместе с авоськами и сумочкой, и привезла ее «скорая» к Петровским воротам, в приемный покой бывшей Екатерининской больницы.

С Генеле случилось ужасное: весь простой, прочный и разумно устроенный мир утратил внутренние связи и стал неузнаваемым. Она видела радужную оболочку зеленовато-пестрого глаза склонившегося над ней врача, блестящий излишком крахмала ворот белого халата, щетину, проросшую на смуглой щеке за суточное дежурство, шероховатости белой крашеной стены, бок шкафчика для медикаментов и переплет окна, но детали эти были разрозненны и общей картины из них не слагалось.

Генеле все хотела додумать, силилась выложить словами ускользающую мысль, но не могла. Осталось у нее только чувство, что она, маленькая, заблудилась, потерялась и ей надо спешить куда-то по делу великой важности. Сумки у нее отобрали, и она все шевелила пальцами левой руки, потому что в руке было ощущение, что чего-то не хватает.

Обиженная, ограбленная, маленькая Генеле лежала на узкой кушетке, испытывая мучительное недоумение. Вопросов, которые ей задавали, она не слышала. Пожилая медсестра раскрыла ее коричневую сумочку и пошарила в ней длиннопалой рукой. Взгляд Генеле упал на сумочку, и она заплакала медленными слезами.

Медсестра вытащила из сумочки завернутую в темную бумагу баночку с кремом, связку мелких ключей и поношенный паспорт. Генеле была опознана.

Ее положили в неврологическое отделение, в бокс. Беспокойство все нарастало. Бедная Генеле ничего не узнавала, словно враз забыла всю свою жизнь. Когда нянька принесла ей воды, она не сразу вспомнила, как надо глотать. Набрала воду в рот и мучительно застопорилась. Опытная нянька постучала по горлу, и она проглотила.

Два врача в ординаторской обсуждали, какой именно участок мозга у нее поражен. Один считал, что имеет место кровоизлияние в ствол, второй полагал, что кровоизлияния нет вообще, а произошел сильный сосудистый спазм с нарушением мозгового кровообращения.

Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
Пока молодые врачи обсуждали этот медицинский казус, в голове у Генеле немного посветлело, мучительная чехарда из бессвязных картинок внутри и снаружи замедлилась, и из нее выплыл один-единственный образ вместе со словом, к нему относящимся. Это была сумка. Не сумка вообще, а та самая, коричневая. Она сказала довольно громко:

– Сумка! Сумка!

И глаза у нее были умоляющие.

– Я же говорил, спазм, – с торжеством сказал один из врачей, – речь-то сохранена!

До самого глухого часа ночи она кричала то единственное слово, которое у нее еще оставалось. Она пыталась вскочить, бежать, дергалась и металась. Чтобы она не упала с кровати и не разбилась, ее обвязали сеткой.

А сумка как будто была уже у нее в руках, и она не хотела ее отдавать и все кричала: сумка! сумка!

И знала – чем громче она кричит, тем больше принадлежит ей эта кожаная ветوشь с извилистым узором на роговом замке.

А ласковый и печальный голос кого-то знакомого все говорил ей:

– Брось, брось, оставь!

Но Генеле не сдалась до конца. Так она и умерла, скрючив левую руку и подогнув пальцы, сжимающие невидимый замок.

Наутро печальные племянницы Галя и Рая и старый Наум в коротких широких штанах получили в больнице по описи ее вещи. Галя взяла коричневую сумочку с отдельно означенной небольшой суммой денег, находящихся в ней, Наум – с опозданием дошедшее до него пасхальное угощение.

Потом, когда он развернет дома эти свертки, в термосе он обнаружит еще не остывший бульон, а остальная еда, приготовленная руками Генеле, будет поставлена на поминальный стол, – и эта последняя трапеза будет грубым нарушением еврейского обычая, потому что издавна было принято после похорон близкого человека строго поститься, а отнюдь не наедаться вкусной едой.

Рая пошла по всяким скорбным учреждениям оформлять бумаги, а Галя поехала в Востряково на кладбище, чтобы узнать, какие нужны бумаги, чтобы положить покойную Генеле рядом с сестрами, братьями и родителями.

Вечером племянница Галя пришла к Науму. Рая пришла еще раньше. У него горела маленькая лампочка, которую он зажигал в годовщину смерти родственников. Они сели за шаткий стол. Григорий с радостной улыбкой пошел ставить чайник. Когда он вышел, Наум сказал торжественно племянницам, обращаясь по преимуществу к умной и несколько педантичной Гале:

– Дочери мои! Генеле умерла. И не мучилась. Пусть земля будет ей пухом. Поезжайте к ней в дом, пока соседи не обчистили ее комнату и не наложило печать домоуправление, и хорошо поищите,

– Что там искать, дядя Наум? – недоуменно спросила Рая.

– Во-первых, завещание... – Рая пожалала плечами, а Наум строго продолжал:

– А во-вторых, нашей Генеле достались от бабушки бриллиантовые серьги. Вот такие бриллианты! – Он сложил из большого и указательного пальцев кольцо, в котором уместился бы грецкий орех.

– Какие бриллианты, дядя Наум, вы бредите? – изумилась Галя. – Всегда были нищими!

– Так вот случилось. Серьги были. Испанской огранки. Непревзойденные! – Наум поцеловал кончики пальцев. – Чтоб я так жил! Бабушка умирала у Генеле. А Генеле

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru была хитрая девочка, она их прибрала. Когда сестры с нее спросили, она сказала: «Ничего не знаю! Я за бабушкой ходила, я кормила, я стирала – это я знаю. А где бриллианты – не знаю!» Ну, понимаете меня! – настаивал Наум. – Поищите в белье, в чулках, ну, где женщины прячут, я знаю...

Галя хмуро посмотрела в темное окно, встала:

– Я пойду, дядя Наум. Саша в командировке, у меня дети одни...

И ушла.

До позднего вечера Галя точно, механически и бездумно делала женские хозяйственные дела, которые не имеют конца.

А потом присела, достала сумочку старой Генеле и с грустью посмотрела на нее. Раскрыла. Там лежали какие-то старинные рецепты, связка маленьких ключей и завернутая в пергамент баночка из-под крема. Она развернула пергамент. В баночке было что-то вроде вазелина, покрытое толстым слоем окиси.

– Бедняжка Генеле! – сочувствовала Галя, высыпая на газету всю мелкую дребедень из старой сумочки. – Что же я могу для нее сделать теперь? Ничего...

И вдруг догадалась. Она смахнула весь залежавшийся хлам обратно в сумочку.

Она знала, как сделать приятное Генеле: когда будут ее хоронить, она незаметно положит в гроб эту самую сумочку...

Так оно и было: развеялся серый дымок над трубой Донского крематория, и пошла себе по небесной дорожке суетливой походочкой сквозистая на просвет ветхая Генеле, прижимая к левому боку тень сумочки, в которой на вечные времена хранились тени бриллиантов, окончательно убереженные ею от властей и от родственников...

Дочь Бухары

В архаической и слободской московской жизни, ячеистой, закоулочной, с центрами притяжения возле обледенелых колонок и дровяных складов, не существовало семейной тайны. Не было даже обыкновенной частной жизни, ибо любая заплата на подштанниках, развевающихся на общественных веревках, была известна всем и каждому.

Слышимость, видимость и физическое вторжение соседствующей жизни были ежеминутны и неизбежны, и возможность выживания лишь тем и держалась, что раскаты скандала справа уравновешивались пьяной и веселой гармонью слева.

В глубине огромного и запутанного, разделенного выгородками дровяных сараев и барачков двора, прилепившись к брандмауэру соседнего доходного дома, стоял приличный флигель дореволюционной постройки, с намеком на архитектурный замысел и отгороженный условно существующей сквозной изгородью. К флигелю прилегал небольшой сад. Жил во флигеле старый доктор.

Однажды, среди бела дня, в конце мая сорок шестого года, когда все, кому было суждено вернуться, уже вернулись, во двор въехал «опель-кадет» и остановился возле калитки докторского дома. Ребята еще не успели как следует облепить трофейную новинку, как распахнулась дверца и из машины вышел майор медицинской службы, такой правильный, белозубый, русо-русский, как будто только что с плаката прыгнувший загорелый воин-освободитель.

Он обошел горбатую машину, распахнул вторую дверку – и медленно-медленно, лениво, как растекающееся по столу варенье, из машины вышла очень молодая женщина невиданной восточной красоты, с блестящими, несметной силы волосами, своей тяжестью запрокидывающими назад ее маленькую голову.

Над цветочными горшками в разнокалиберных окнах появились старушечьи лица, соседки уже высыпали во двор, и над суматошными строениями завис высокий торжествующий женский крик: «Дима! Дима докторский вернулся!»

Они стояли у калитки, майор и его спутница. Он, засунув руку сбоку, пытался вслепую отодвинуть засов, а навстречу им по заросшей тропинке, хромя, спешил

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
старый доктор Андрей Иннокентиевич. Ветер поднимал белые пряди волос, старик хмурился, улыбался, скорее догадывался, чем узнавал.

Свет после полумрака его комнаты был каким-то чрезмерным, неземным и стоял столбом – как это бывает с сильным ливнем – над майором и его женщиной. Обернувшись к соседям и махнув им рукой, майор шагнул навстречу деду и обнял его. Красавица с туманно-черными глазами скромно выглядывала из-за его спины.

Этот флигель, и прежде существовавший наособицу, с возвращением докторского внука так и запылал особенной, красивой и богатой жизнью. Со слепоглухотой, свойственной всем счастливым, молодые как будто не замечали душераздирающего контраста между жизнью барачных переселенцев, люмпена, людей не от города и не от деревни, и своей собственной, протекавшей за новым глухим забором, сменившим обветшалую изгородь.

Бухара – так прозвал двор анонимную красавицу – не терпела чужих взглядов, а пока забор не был выстроен, ни одна соседка не упускала случая, проходя, заглянуть в притягательные окна.

И все-таки соседи по двору, полуголодные и нищие, вопреки известным законам справедливости вселишения, всеобщей равной и обязательной нищеты прощали им это аристократическое право жить втроем в трех комнатах, обедать не в кухне, а в столовой и работать в кабинете... И как им было не прощать, если не было во дворе старухи, к которой не приходил бы старый доктор, младенца, которого не приносили бы к старому доктору, и человека, который мог бы сказать, что доктор взял с него хоть рубль за лечение...

Это была даже не семейная традиция, скорее семейная одержимость. Отец Андрея Иннокентиевича был военным фельдшером, дед – полковым лекарем. Единственный сын, молодой врач, умер от сыпного тифа, заразившись в тифозном бараке и оставив после себя годовалого ребенка, которого дед и воспитал.

Пять последних поколений семьи обладали одной наследственной особенностью: рослые и сильные мужчины рода рождали по одному сыну, как будто было какое-то указание свыше, ограничивающее естественное производство этих крепких профессионалов, гуляющих тугими резиновыми перчатками по операционному полю.

Зная об этом семейном малоплодии, старый Андрей Иннокентиевич с ожиданием смотрел на хрупкую невестку в розовых и лиловых шелковых платьях, с грустью отмечал подростковую узость таза, общую субтильность сложения и вспоминал свою давно ушедшую Танюшу, какой та была в восемнадцать лет, – мужского роста, плечистую, с самоварным румянцем и крутой лохматящейся косой, которую она остригла безжалостно и весело в день окончания гимназии...

Пока Дмитрий колебался, принимать ли ему отделение в городской больнице или идти на кафедру в военно-медицинскую академию и перебираться в Ленинград, жена его кропотливо и рьяно занялась домом, потеснив Пашу, старую больничную няньку, которая уже чуть не двадцать лет вела незамысловатое докторово хозяйство.

Паша оскорбилась и перестала ходить. Доктор впервые в жизни отправился к Паше в Измайлово, разыскал ее, сел на венский стул, подвязанный шпагатом, положил перед собой на стол свою мятую шляпу и, разглядывая прямым, но подслеповатым взглядом обвешанную полотенцами икону, сказал:

– Не знал, что ты верующая, – покачал головой и строгим докторским голосом закончил:

– Я тебе, Паша, отставки не давал. Кухню сдашь, а комнату мою убирать, стирка – это на тебе останется. И получать будешь, сколько получала.

Паша заплакала, сложив губы мятой подковой.

– Ну чего ты реवेशь? – строго спросил доктор.

– Да чего там у вас убирать, в кабинете-то? Мне там раз махнуть, и вся работа. А варит-то она как – ни борща сварганить, ни каши... – Она вынула из вылинявшего черного халата белую тряпочку и вытерла глаза.



Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru)  
– Собирайся, Паша, поехали, и не дури, – приказал Андрей Иннокентиевич, и они вместе поехали на долгом трамвае через всю Москву к доктору.

– Нечего тебе обижаться, нам помирать пора. Пусть на свой лад устраивает, ей рожать скоро, – внушал Паше доктор по дороге, но она скорбно трясла головой, молчала и только возле самого дома, собравшись с духом, ответила ему:

– Да смотреть-то обидно. Женился на головешке азиатской.. Одно слово – Бухара!

Видно, Паша еще не прониклась до конца духом полного и окончательного интернационализма.

А «головешка азиатская», которую муж ласково называл Алечкой, молчала, сияла глазами в его сторону, легко и ловко перебирала тонкими пальцами, расчищая запущенный дом.

Доктор, в молодые годы подолгу живший в Средней Азии, многое понимал в особенном устройстве Востока. Знал он, что даже самая образованная азиатская женщина, слагающая стихи на фарси и арабском, по движению брови свекрови отправляется вместе со служанками собирать кизяк и лепить саманные кирпичи...

Из окна кабинета доктор наблюдал, как его беременная невестка сидит на корточках в палисаднике, отчищает старую кастрюлю и ее серповидные тонкие лопатки мелко ходят под легкой тканью платья.

«Бедная девочка, – размышлял старше, – трудно ей будет привыкать».

Но она разобралась быстро.

Не свекровь и не служанка, определила она старую Пашу, подумала и догадалась: кормилица.

И с этой минуты не было у Паши никакого недовольства невесткой, потому что хоть та и ошиблась относительно роли старухи, но ошибка оказалась вернее истины. Алечка была с Пашей ласкова и почтительно-проста.

Что же касается старого доктора, то одних его седин было бы достаточно, чтобы не поднимать ей на него смиренных глаз. Но, кроме того, доктор напоминал ей отца, узбекского ученого старого толка, умершего незадолго до войны. Ему все не могли определить правильного места в новом пантеоне советских узбекских деятелей, выбирая между образом востоковеда-полиглота, исследователя и знатока фольклора и широко образованного в восточной медицине врача.

Сам он в конце жизни всему предпочитал богословие и писал до последних дней трактат об исре, ночном путешествии Мохаммеда в Небесный Иерусалим, что тоже было серьезным препятствием к официальному посмертному признанию. Однако назвали окраинную улицу столицы в его честь, хотя через несколько лет и переименовали... Был он настолько свободомыслящим человеком, что дал образование не только своим многочисленным сыновьям, но и дочерям. Младшая доучиться не успела при жизни отца, ей досталось всего лишь медицинское училище...

Так Андрей Иннокентиевич и не узнал до самой своей смерти, наступившей внезапно и легко вскоре после рождения правнучки, о том, сколь рафинированная, перегоняемая многими столетиями в лучших медресе Азии кровь течет в жилах крохотной желтолицей и желтоволосой девочки, которую торжественно привезли из роддома имени Крупской в сером «опель-кадете».

С первого же взгляда ребенок очень насторожил старого доктора. Девочка была вялая, отечная, с сильно развитым эпикантом, кожной складкой века, характерной для монгольской расы. Андрей Иннокентиевич отметил про себя гипотонус, мышечную расслабленность и полное отсутствие хватательного рефлекса.

Дмитрий, наскоро заканчивавший свое медицинское образование уже после начала войны, специализировался полевой хирургии, в педиатрии ничего не понимал, но тоже был внутренне встревожен и гнал от себя дурные предчувствия.

Назвали девочку Людмилой, Милочкой, и Аля, совершенно правильно говорившая по-русски, называла ее, смягчая окончание, Милей. Из рук она ее не выпускала и

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) даже на ночь все старалась устроить у себя под боком.

Старый доктор умер, унеся с собой свои подозрения, но к полугоду и самому Дмитрию было совершенно ясно, что ребенок неполноценный.

Он отвез девочку в институт педиатрии, где академик Клосовский, связанный с покойным доктором корпоративной связью былых еще времен, под восхищенными взглядами ординаторов и аспирантов артистически осмотрел ребенка. Он повернул кверху крошечную ладонь, указал на еле видную продольную складочку, ловким движением нажав сбоку на скулы, обнажил белесый язычок ребенка и провозгласил диагноз, по тем временам редкий, – классический синдром Дауна.

Завершив свой блестящий номер, академик оставил девочку на белом холодном столе на попечение старшей медсестры отделения и, взявши под руку смятенного отца, повел его в свой кабинет, уставленный бронзой и препаратами мозга.

После пятиминутной беседы Дмитрию стало ясно, что ребенок безнадежен, что никакая медицина никогда не сможет облегчить его участи и единственное благо, которое посылает природа для смягчения этого несчастья, – такое анатомическое строение носоглотки, при котором неизбежны постоянные простуды, сопряженные с этим воспаления легких и, как следствие, ранняя гибель. Вообще, утешил академик, дети эти редко доживают до совершеннолетия.

На возвратном пути неполноценная девочка безмятежно спала, красавица мать прижимала к себе свою драгоценность с такой углубленной важностью, что Дмитрий напряженно думал, вполне ли поняла его жена весь невообразимый ужас происшедшего, и не решался ее об этом спросить.

Со временем Дмитрий Иванович проштудировал американские медицинские журналы, разобрался с происхождением этого заболевания и, проклиная могущественный вейсманизм-морганизм, мучительно вспоминал о самых счастливых минутах его жизни, о первых днях внезапно постигшей его любви к девственной красавице, истинному чуду военного времени, присланному в госпиталь вместо демобилизованных медсестер прямо из джанны – мусульманского рая.

Обнимая своего первого и единственного в жизни мужчину шафрановыми, мускусными руками, она шептала ему в ухо: «Имя Дмитрий было написано у меня на груди» – и произносила слова на чуждом восточном языке, которые были словами не ласки, но молитвы... Именно тогда плотные сгустки наследственного вещества сошлись и, расходясь, случайным образом сцепились, и одна лишняя хромосома, или ее часть, отошла не в ту клетку, и эта микроскопическая ошибка определила существование этого порченого от самого своего зачатия существа..

Жена Дмитрия словно и не замечала неполноценности девочки. Она наряжала ее в цветные шелковые платьица, повязывала нарядные бантики на жидкие желтые волосы и любовалась плоской бессмысленно-жизнерадостной мордочкой с маленьким раздавленным носом и всегда приоткрытым мокрым ртом.

Милочка была улыбочивой и спокойной – не плакала, не обижалась, не сердилась, никогда ей не хотелось ничего такого, что было запрещено. Книжек она не рвала, огня остерегалась, подходила к калитке садика, смотрела в щелку, а на улицу не выходила.

Дмитрий Иванович, наблюдая за дочерью, с горечью думал о том, каким чудным ребенком могла бы быть эта девочка, какая обаятельная личность похоронена в дефектной телесности.

Единственной неприятной особенностью Милочки была ее нечистоплотность. Она очень поздно, как и бывает обычно с такими детьми, начала проситься на горшок и совершенно не могла усвоить понятия «грязный», хотя многие другие вещи, более сложные, она воспринимала. Так, «хорошее» и «плохое» она по-своему различала, и самым сильным наказанием, которое допускала ее мать, были слова «Мила плохая девочка». Она закрывала лицо короткими пальчиками и плакала бурными слезами. Этому наказанию подвергалась она редко и обычно как раз за грехи «грязи»: испачканное платье, одеяло, стул.

Любимой стихией Милочки была полужидкая земля, в которой она с наслаждением возилась. Долгими часами она сидела рядом с песочницей, пренебрегая чистым

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru) крупитчатый песком, специально для нее привезенным отцом, и из жирной садовой земли, поливая ее дождевой водой из бочки, месила тесто и лепила, лепила.

Дмитрий Иванович, воспитанный дедом по сухой и добротной нравственной схеме Марка Аврелия, усвоивший к тому же скучную материалистическую религию общественной пользы, допоздна просиживал в своем отделении, глубоко вникая в медицинские судьбы своих пациентов.

Возвращаясь домой, он испытывал привычное ежевечернее отчаянье, и жена его, так сильно прилепившаяся к дочери, что черты Милочкиной неполноценности как бы проникали и в нее, становилась ему все более чуждой.

Все волшебство близости с этой прелестной и покорной восточной красавицей выветривалось куда-то, и, даже когда он изредка звал ее в кабинет деда, давно им заселенный, он не мог освободиться от глубокого темного страха перед невидимым движением таинственных и непостижимых частиц, руководивших судьбой уже рожденного ребенка и того, другого, который мог бы появиться на свет... Страх этот был так силен, что порой вызывал физическую тошноту и в конце концов полностью лишил Дмитрия Ивановича желания обнимать это женское совершенство.

Операционная сестра Тамара Степановна, грузная и грубая, с умными и надежными руками, после производственной вечеринки по случаю чьего-то дня рождения на дерматиновой кушетке в запертом приемном покое освободила Дмитрия Ивановича от предрассудков пуританского воспитания, а красавицу Бухару – от мужа.

Крупнопористая, круто завитая и толстоногая Тамара Степановна не рассчитывала на такой успех. Но она была ломовая фронтовичка, давно и наизусть выучившая сокровенную мужскую тайну: сильнее всего укреплять наиболее слабый участок. Интуицией многоопытного женского зверя она почувствовала его слабинку и на вторую их встречу, происшедшую через несколько дней по случайному совпадению дежурств, она посетовала на свое бесплодие, и Дмитрий Иванович с этой немолодой и некрасивой женщиной освободился от кошмарного миража мелких и гнусных движений хромосом, которые к тому времени начисто отрицались передовой наукой, но это уже не могло изменить совершенно разладившихся его отношений с женой.

Дмитрий Иванович сообщил жене, что уходит к другой. Она, не поднимая глаз и не выразив никакого чувства, спросила его, зачем ему уходить... Дмитрий не понял вопроса и дал разъяснение.

– Я знаю, я тебе надоела. Приведи новую жену сюда. Я согласна. Я сама родилась от младшей жены... – не поднимая глаз, сказала Бухара.

Дмитрий Иванович схватился за голову, застонал и вечером того же дня, собрав в чемодан рубашки и носки, ушел к Тамаре Степановне...

Деньги Дмитрий Иванович переводил по почте. Милочку не навещал никогда. В три дня девочка его забыла, с его уходом Паша окончательно переехала в докторский флигель, а Бухара пошла работать по своей почти утраченной специальности.

Круто изменилась жизнь. Прежнее жадное любопытство соседей к Бухаре и ее дочери, подогреваемое высотой забора и их полной отчужденностью, теперь сменилось агрессивным желанием потеснить пришлицу, «уплотнить», как тогда еще говорили. Были написаны безграмотные и убедительные бумаги в райжилотдел, в милицию и в некоторые иные организации, не чуждые проблемам распределения жилплощади. Однако времена уже стояли прогрессивные, ни выселить, ни даже потеснить их не удалось, хотя участковый милиционер Головкин к ним все-таки приходил – посмотреть, что там за комнаты у соломенной вдовы.

Дохлые кошки со всей округи постоянно перекидывались через высокий забор Бухары, но она не была брезглива, выносила кошек на помойку, а если дохлятину находила Милочка в мамино отсутствие, то она рыла в углу садика, под большим дубом, ямку, хоронила там кошку и устраивала на могиле секретный подземный памятник: под осколком оконного стекла раскладывала цветные бумажки, головки толстых золотых шаров, фольгу, камешки. Часами трудилась, устраивая красоту, и, когда мать приходила с работы, сдвигала тонкий слой земли и показывала выложенную под, стеклом над упокоенной кошкой волшебную картинку, тыкала в стекло грязным пальцем и объявляла матери:

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
– Киса там.

Толстая Милочка росла в счастливом одиночестве. Была мама, Паша, высоким забором окруженный садик и множество значительных и огромных по смыслу вещей: старая железная бочка с дождевой водой, окруженная разнообразными запахами и мелкими движениями насекомых вокруг нее и внутри, старый дуб в углу сада, осыпающий красивые желуди в гладких шапочках, жесткие резные листья и хрупкие веточки, тоже весь наполненный мелкой животной жизнью, беседка, куда Милочка уходила сосать короткие пухлые пальчики...

Ей шел уже восьмой год, и множество вещей она знала на вид, на запах и на ощупь. Только слов произносила немного, и произношение было странное, как будто гортань ее была создана для другого языка, нездешнего.

Старая Паша любила Милочку. «Жалкая моя», – звала она ее, и, когда Бухара уходила на работу, Паша подолгу что-то рассказывала своей питомице, ум у Паши не то чтобы стал мешаться, но весь устремился в далекое прошлое, и она подробно, по многу раз пересказывала Милочке истории про своих деревенских родственников, про злого пастуха Филиппа, который ударил ее, девочку, кнутом, про пожар, который занялся по деревне от их бани, где сгорел ее старший брат, напившись пьяным.

Детство Милочки было нескончаемо длинным: целое десятилетие радовали ее «ладушки», «сорока-воровка», она прятала свое личико за носовой платок или в подушку и требовала, чтобы ее искали... Младенческий период этот стал заканчиваться к одиннадцатому году, когда она вдруг стала улучшаться в развитии, ее трехлетний разум стал взрослеть, она стала лучше говорить и очень заботиться о чистоте, главным образом рук: подолгу мыла в горячей воде, как бы даже стирала их.

И еще она научилась вырезать ножницами из бумаги. Теперь мать приносила ей множество открыток, старых полуизодранных журналов, и Милочка усердно, днями напролет, вырезала какие-нибудь мелкие цветочки из жесткой открытки. Прикусив кончик крупного языка, она сопела над каждым цветочком и плакала, если случайно перерезала зеленый листик или стебелек.

Старание ее было серьезным и достойным уважения, а бессмысленная деятельность похожа на разумный и сознательный труд. Она приклеивала свои вырезки на альбомные листы, составляла какие-то невообразимые комбинации из лошадиных голов, автомобильных колес и женских причесок, по-своему привлекательные и дико-художественные... Слюна усердия заливала ее подбородок. Но некому было плакать, видя, как мыкается бедная творческая душа, загнанная непостижимой небесной волей в трудолюбивого уродца...

Радостно приносила она матери свои кропотливые изделия, та гладила ее по голове и одобряла: «Очень красиво, Милочка! Хорошо, Милочка!» – и девочка низенько прыгала от радости, и приседала, и смеялась: «Хорошо! Хорошо!» Видно, что и стремление к совершенству было в ней заложено...

Бухара тем временем резко и окончательно перестала быть красавицей. Она сильно исхудала, потемнела лицом, убрала в старый немецкий чемодан свои цветные платья, оделась в темное. Лицо ее обросло по щекам и подбородку неприятным черным пухом, и ярко сверкающие зубы потеряли свой праздничный цвет.

Сотрудники по поликлинике намекали ей, что неплохо бы показаться хорошему специалисту, но она только улыбалась, опуская вниз глаза. Она знала, что больна, и даже знала чем.

В конце зимы она неожиданно взяла отпуск и полетела с Милочкой на родину, впервые за многие годы. Отсутствовали они чуть больше недели, вернулась Бухара еле живая, еще более темная, с огромным легким мешком из сквозистой шерстяной ткани.

Мешок был полон травы, которую она долго перебирала, сортировала, перемальвала. Потом разложила все по марлевым мешочкам, завернула их в белую бумагу и стала по горсточкам варить.

Паша все приноживалась, ворчала: «Ну, Бухара, ведьма азиатская!»

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
Бухара молчала, молчала, потом села на корточки в кухне и, прислонясь к стене, как она любила сидеть, сказала Паше:

– Паша, у меня болезнь смертельная. Я сейчас умереть не могу, как Милочку оставляю... Я с травой еще шесть лет буду жива, потом умру. Мне старик траву дал, святой человек. Не ведьма.

Таких длинных разговоров Паша от нее никогда не слыхала. Подумала, пожевала волнистыми губами и попросила:

– Так ты и мне дай.

– Ты здоровая, больше меня проживешь, – тихо ответила Бухара, и Паша ей поверила.

Бухара все пила пахучую траву, ела совсем мало, всегда одну только еду – вареный рис и сушеные абрикосы, привезенные с родины, очень жесткие и почти белые.

И еще одно дело затеяла она – стала водить Милочку в специальную школу для дефективных детей. Она и работу поменяла, поступила в эту же школу в медицинский кабинет и вместе со специалистами-воспитателями всеми силами пыталась научить Милочку жизненной науке: шнуровать ботинки, держать иголку в руках, чистить картошку. Милочка старалась, терпеливо пыхтела и по трудовому обучению за два года вышла в отличницы. С буквами и цифрами, правда, совсем ничего не получалось. Из всех цифр она честолюбиво узнавала только пятерку, радовалась ей, да букву "М" различала. Большой радостью было для нее выйти вечером из дому с матерью и посмотреть на красную букву "М", горящую над входом в метро.

– Мэ, метро, Мила! – говорила она и счастливо смеялась.

Среди разнообразных идиотов этой страшной школы дети с синдромом Дауна отличались спокойным и хорошим нравом.

– Даунята – славные ребята, – говорил о них заведующий по лечебной работе, начиненный самодельными шутками и прибаутками старый Гольдин. – Жаль только, обучаются очень плохо.

Бухара внимательно рассматривала Карена, Катю, Верочку, сравнивала их со своей Милочкой, и сравнение было в ее пользу. Хотя физическое сходство этих детей было поразительно – все низкорослые, короткопалые, с монгольским разрезом глаз, близорукие, ожиревшие, – но Милочка казалась матери лучше других. Может быть, так оно и было.

На семнадцатом году Милочка стала оформляться, на толстеньком туловище выросла грудь. Милочка стеснялась и немного гордилась, говорила:

– Мила большая, Мила тетя...

Попросила у матери туфли на каблуках. Ножики ее были детского размера, и мать долго не могла купить ей туфли. Наконец раздобыла грузинские лакировки на толстом пробковом каблучке. Милочка была счастлива, вытирала туфли носовым платком и целовала Бухару в лицо, в руки, как маленький щенок без разбору лижет хозяина.

Милочка не сразу научилась ходить на каблуках, недели две все спотыкалась по дому. Когда научилась, мать отвезла ее в мастерскую при психоневрологическом диспансере, где с помощью трудового воспитания, а именно склейки конвертов и вырезывания фигурных ценников, из умственно отсталых людей пытались вырабатывать полезных членов общества.

Бухара уволилась из школы и поступила в диспансер, в регистратуру, чтобы находиться рядом с дочерью и помогать ей в трудовой деятельности.

Бухара разносила медкарты по кабинетам и целеустремленно изучала посетителей. Времени у нее было мало, она торопилась, как торопится обреченный художник завершить перед смертью великое полотно.

Дело в диспансере, как и в любом другом учреждении, было поставлено донельзя

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru рутинно и бессмысленно. Каждый год вызывали на переосвидетельствование больных, это и была основная забота диспансера. Впрочем, по соседнему ведомству, в обычной районной поликлинике, на такое же переосвидетельствование таскали и безногих. Без этого не давали пенсии, а составляла она сумму немалую, у некоторых чуть не до сорока рублей.

Вот эти приходящие на комиссию люди и занимали Бухару. У нее был даже свой маленький архив, своя картотека. Она интересовалась, что за больной, с кем живет, где.

Дичь, однако, сама вышла на охотника. Однажды на запущенной мраморной лестнице особняка, где помещался диспансер, к ней обратился маленький лысый старик в коротких полосатых брюках и с чаплиновской живостью глаз. Не отпуская руки упитанного головастого дебила с розовой улыбкой, старик спросил у Бухары, куда подавался врач Рактин, который раньше был по их участку, а теперь не принимает.

Бухара ответила, что Рактин ушел, на его месте теперь молодой доктор Веденева, но, кажется, у нее сегодня нет приема.

– Ай-яй-яй, – закудахтал человек сокрушенно, как будто произошло невесть какое несчастье.

А Бухара незаметно разглядывала того, который стоял рядом, – тоже лысого, добродушного и толстого, в клетчатой чистой, но невыглаженной рубашке и в сатиновых шароварах послевоенной моды. Было ему лет тридцать или около того, но Бухара уже знала, что больные люди живут и стареют как-то иначе, чем обычные, и с их возрастом можно легко ошибиться: в детстве они часто кажутся младше, но потом неожиданно быстро стареют.

– Ваша фамилия? – спросила Бухара почтительно.

– Берман, – ответил старик, а его толстый сын закивал головой. – Берман Григорий Наумович, – повторил старик, указал на сына, а тот все кивал и улыбался.

Оказалось, они пришли за справкой. Дом их шел под снос, и старик Берман хотел воспользоваться болезнью сына, чтобы получить побольше жилых метров.

Бухара быстро узнала, когда надо приходить, обещала сообщить, смогут ли дать такую справку для Григория.

Отец с сыном ушли, и Бухара долго смотрела вслед этой парочке, которая кому-нибудь могла показаться комичной. Но не ей...

Она долго изучала пухлую карточку Григория Бермана. Здесь фигурировала и врожденная гидроцефалия, и менингит, и поражение молнией в семилетнем возрасте – как будто провидение искало гарантий, чтоб этот человек был изувечен наверняка...

Судя по трудно разбираемым каракулям лечащих врачей, молодой человек обладал сниженным интеллектом, спокойным хорошим нравом и не был подвержен припадкам.

На следующий день Бухара приехала в Старопименовский переулок, где в маленьком деревянном домике, совершеннейшей избушке на курьих ножках, однако все-таки поделенной на три семьи, жил старый Берман со своим сыном.

На веревке, протянутой через маленькую комнату, висело невысохшее белье, старик читал одну из толстых кожаных книг, которые громоздились на столе, и сердце Бухары замерло от сладкого, знакомого с детства запаха старинной кожи.

Григорий сидел на стуле и гладил грязную белую кошку, которая спала у него на коленях. Пахло пригорелым супом и ночным горшком.

Старый Берман засуетился, когда узнал вчерашнюю медсестру, он вовсе не рассчитывал на такую любезность.

– Гриша, пойдешь поставь чайник сию минуту, – приказал Берман, и Григорий, взяв очень старательно чайник тряпочкой за ручку, вышел.

– Я пришла к вам по делу, Наум Абрамович, – начала медсестра, – Пока нет вашего

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru сына, я вот что хочу вам сказать: у меня есть дочь, она очень хорошая девочка, спокойная, добрая. И болезнь у нее такая же, как у вашего сына.

Берман встрепнулся, что-то хотел сказать, но кроткая Бухара властно его остановила и продолжила:

– Я больна. Скоро умру. Я хочу выдать дочку замуж за хорошего человека.

– Милая моя! – всплеснул руками Берман, так что тяжелая книжка грузно шлепнулась на пол и он кинулся ее поднимать, откуда-то из-под стола продолжая бурно ей отвечать:

– Что вы говорите? Что вы думаете? Кто это за него пойдет? И какой из него муж? Вы что, думаете, девушка будет иметь от него большое удовольствие, вы понимаете, что я имею в виду? А?

Бухара молча перетерпела все это длинное и лишнее выступление старика, потом вошел Григорий, сел на стул, взял кошку на колени и стал чесать ее за ухом. Бухара посмотрела на него острым и внимательным глазом и сказала:

– Гриша, я хочу, чтобы вы с папой пришли ко мне в гости. Я хочу познакомить вас с моей дочкой Милой. – А потом она повернулась к Науму Абрамовичу и сказала ему прямо-таки совсем по-еврейски:

– А что будет плохого, если они познакомятся?

...По воскресным дням Бухара обыкновенно не вставала с постели, отлеживалась, берегла силы. Кожа ее сильно потемнела и ссохлась, лицо стало совсем старушечьим, и даже тонкая фигура утратила стройность, согнувшись в плечах и в спине. Ей не было и сорока, но молодыми в ней оставались только ярко-черные сильные волосы, которые она давно уже укоротила, изнемогши от их живой и излишней тяжести.

Милочка принесла матери чашку горячей травы, несколько размоченных урючин и села рядом с постелью на низенькую скамейку, обняв свои пухлые колени. Бухара погладила слабой рукой ее реденькие желтые волосы и сказала:

– Спасибо, доченька. Я хочу сказать тебе одну вещь. Очень важную. – Девочка подняла голову. – Я хочу, чтобы у тебя был муж.

– А ты? – удивилась Милочка. – Пусть лучше у тебя будет муж. Мне его не надо.

Бухара улыбнулась.

– У меня уже был муж. Давно. Теперь пусть у тебя будет муж. Ты уже большая.

– Нет, не хочу. Я хочу, чтобы ты была. Не муж, а ты, – насупилась Милочка. Бухара не ожидала отпора.

– Я скоро уеду. Я тебе говорила, – сказала она дочери.

– Не уезжай, не уезжай! Я не хочу! – заплакала Милочка. Мать ей уже много раз говорила, что скоро уедет, но она все не верила и быстро про это забывала. – Пусть и Мила уедет!

Когда Милочка волновалась, она забывала говорить про себя в первом лице и снова, как в детстве, говорила в третьем.

– Я долго, долго с тобой жила. Всегда. Теперь я должна уехать. У тебя будет муж, ты не будешь одна. Паша будет, – терпеливо объясняла Бухара. – Муж – это хорошо. Хороший мрк.

– Мила плохая? – спросила девочка у матери.

– Хорошая, – погладила толстую круглую голову Бухара.

– Завтра не уезжай, – попросила Мила.

Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya@ludmila.ru](http://litskaya@ludmila.ru)  
– Завтра не уеду, – пообещала Бухара и закрыла глаза.

Она давно уже решила, что уедет умирать к старшему брату в Фергану, чтобы Милочка не видела ее смерти и постепенно бы про нее забыла. Память у Милочки была небольшая, долго не держала в себе ни людей, ни события.

Все произошло, как задумала Бухара. Берман с сыном и сестрой, маленькой, одуванчикового вида старушкой, пришли в гости. Паша накануне убрала квартиру, хотя и ворчала. Бухара принесла покупной торт. Готовить она совсем не могла, к плите не подходила, настолько плохо ей становилось от близости огня и запахов пищи.

Пили чай. Разговаривали. Старушка оказалась необыкновенно болтливой и задавала много странных и бессмысленных вопросов, на которые можно было не отвечать. Старый Берман вдумчиво пил чай. Григорий улыбался и все спрашивал у отца, можно ли ему взять еще кусочек торта, и с увлечением ел, вытирая руки то о носовой платок, то о салфетку, то о край скатерти.

Бухара с сердечным отзывом узнавала в нем все старательно-деликатные движения Милочки, которая очень боялась за столом что-нибудь испачкать или уронить.

Милочка слезла со стула. Она была детски малого роста, но с развитой женской грудью. Подошла к Григорию.

– Идем, я покажу, – позвала она, и он, послушно оставив недоеденный кусок, пошел следом за ней в маленькую комнату.

Совсем без перехода, как бы сама к себе обращаясь, маленькая старушка вдруг сказала:

– А может, она права... И квартира у них очень хорошая, можно сказать, генеральская... – и зажевала губами.

Милочка в своей комнате раскладывала перед Григорием свои бесчисленные альбомы. Он держал во рту орешек от торта, перекачивал его языком, любовался картинками, а потом спросил у Милочки:

– Угадай, что у меня во рту?

Милочка подумала немного и сказала:

– Зубы.

– Орешек, – засмеялся Григорий, вынул изо рта орешек и положил ей в руку.

...Едва дождавшись совершеннолетия Милочки, их расписали. Григорий переселился в докторский флигель. Бухара через месяц после свадьбы уехала к себе на родину.

Первое время Милочка, натываясь на вещи матери, говорила грустно: мамин фартук, мамина чашка... Но потом старая Паша потихоньку все эти вещи прибрала подальше, и Милочка про мать больше не вспоминала.

По утрам Милочка ходила на работу в мастерскую. Ей нравилось вырезать ценники, она делала это почти лучше всех. Гриша каждый день провожал ее до трамвая, а потом встречал на остановке. Когда они шли по улице, взявшись за руки, маленькая Милочка на каблуках в девичьем розовом платье Бухары и ее муж, большеголовый Григорий с поросшей пухом лысиной, оба в уродливых круглых очках, выданных им бесплатно, – не было человека, который не оглянулся бы им вслед. Мальчишки кричали в спину какие-то дворовые непристойности.

Но они были так заняты друг другом, что совсем не замечали чужого нехорошего интереса.

Шли до остановки. Милочка неуклюже влезла на высокую подножку. Григорий подталкивал ее сзади и махал рукой до тех пор, пока трамвай не скрывался за поворотом. Милочка тоже махала, прилепив к стеклу свою размазанную улыбку и поднимаясь на цыпочки, чтобы лучше видеть стоящего на остановке мужа, энергично размахивающего толстой варежкой...



Брак их был прекрасным. Но в нем была тайна, им самим неведомая: с точки зрения здоровых и нормальных людей, был их брак ненастоящим.

Старая Паша, сидючи на лавочке, с важным видом говорила прочим старухам:

– Много вы понимаете! Да Бухара всех нас умней оказалась! Все, все наперед рассчитала! И Милочку выдала за хорошего человека, и сама, как приехала в это самое свое... так на пятый день и померла. А вы говорите!

Но никто ничего и не говорил. Все так и было.

Лялин дом

Был у Ольги Александровны – по-домашнему ее звали Лялей – золотой характер. Красивая и легкая, многого от жизни она не требовала, но и не упускала того, что шло в руки. Со всеми у нее были хорошие отношения: с мужем Михаилом Михайловичем, рано постаревшим, рыхлым, бесцветным профессором, с сыном Гошей, девятиклассником, с самыми разнообразными, даже весьма зловредными кафедральными дамами-сослуживицами, с любовниками, которые не переводились у нее, сменяясь время от времени и слегка набегая один на другого.

Только вот с дочерью Леной отношения были сложными. Девочка ее пошла в отца, тоже была рыхлая, с пухлым неопределенным лицом, громоздким низом и маленькой, не по размеру всей фигуры, грудью. Ольгу Александровну в глубине души оскорбляла никчемная внешность дочери, ее апатичный вид, вялые бледные волосы. Время от времени она нападала на Лену, требовала от нее энергичной заботы о внешности, заставляя принаряжаться, благо было во что. Но та только раздражалась и презрительно щурилась. Мать она недолюбливала и тайно досадовала, что не ей, а брату достались от матери синие яркие глаза, точность бровей и носа и крепкая белизна зубов.

К тому же кое-какие слухи о пестрых материнских похождениях доползли и до нее – она к своим двадцати двум годам окончила тот же институт, в котором заведовал кафедрой отец и мать преподавала французскую литературу. К любимому своему отцу она тоже испытывала иногда злое раздражение, возмущалась беспринципной терпимостью его поведения, – как, зачем мирится он с Лялиным телефонным хихиканьем, отлучками, враньем и безразлично-бесстыдным кокетством со всеми особями мужского пола, не исключая постового милиционера и соседского кота...

К тому же и сам возраст матери казался Лене давно уже перешедшим черту, когда простительны флирты, романы и вся эта чепуха.

А у Ляли была тонкая теория брака, по которой выходило, что супружеские измены брак только укрепляют, рожают в супругах чувство вины, нежно цементирующее любую трещину и щербинку в отношениях. Трагедий Ляля не терпела, никогда не дружила с женщинами, склонными к любовным страданиям и романтическому пафосу, и практика жизни убеждала ее в правоте. Ее собственное семейное счастье умножалось на внесемейное. Помимо хорошей, ладной семьи имела она осенние свидания на садовых скамейках, беглые прикосновения коленом на заседании кафедры, торопливые поцелуи в прихожей и жгучие праздники двойной измены – собственному своему мужу и подруге, с мужем которой торопливо и ярко соединялась в каком-нибудь счастливом случайном месте...

Ляля огорчалась, чувствуя дочернюю неприязнь. Мечтала, чтобы дочь завела себе любовника и стала бы почеловечней. Но умная девочка относилась к матери снисходительно-саркастически, объясняла своей ближайшей подруге:

– Видишь ли, это пошлые стандарты их молодости. В этом кругу, интеллигентском, университетском, потребность в свободе сильнее всего реализовывалась в распутстве. Да, да, – припечатывала некрасивая девочка, – они все были в свои незабвенные шестидесятые либо диссидентами, либо распутниками... Либо и то и другое... – Лена слегка закатывала глаза:

– Я бы диссертацию могла написать на тему «Психологические особенности шестидесятников».

Впрочем, в аспирантуре у нее тема была другая. Вот такая ходячая бомба находилась постоянно в доме Ольги Александровны. Удивительно ли, что общение с

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) сыном доставляло ей куда больше радости... При большом внешнем сходстве с матерью, от отца он унаследовал педантический и жадный до знаний ум, склонность к догматизму и хорошую дозу мужского делового честолюбия. Но более всего роднил Ольгу Александровну с сыном редкий Божий – или дьявольский? – дар, дар обаяния. С малолетства соревновались сверстники за право стоять с ним в паре, сидеть на одной парте, нести портфель или отбивать пассы... И поэтому профессорский дом был всегда полон людей: соседи, бывшие студенты, приятельницы Ляли от всех эпох жизни и от всех ее жанров – от маникюрши до министерши, одноклассники Гоши, дворовые ребята и еще куча случайного проходного народу, неизвестно где подхваченного.

Два больших чайника не снимали с плиты. Еда в дом покупалась дешевая и в больших количествах.

Профессор, большую часть времени проводивший в глубине квартиры, в кабинете, откуда раздавался слабый и неритмичный стук пишущей машинки, несколько раз в день выбирался на кухню, с неопределенной улыбкой пил слабый чай, съедая бутерброд с колбасным сыром, и, с удовольствием послушав разного небезынтересного разговору, удалялся снова в кабинет. Ему нравилось разноголосье теплой кухни, и красивая молодежавшая жена, и вся атмосфера вечного предпраздника, но еще больше ему нравилось закрывать за собой дверь и погружаться в нескончаемые и никому не нужные пьесы Тирсо де Молины, которые он переводил всю жизнь с тяжелым и нездоровым упрямством.

Однажды осенью в профессорской кухне появился новый персонаж – изысканно восточный юноша по фамилии Казиев, новый одноклассник Гоши. Семья его по обмену или с помощью какой-то райисполкомовской махинации въехала в освободившуюся в том же подъезде на четвертом этаже квартиру, представлявшую собой ровно половину профессорской, – вторая половина была отсечена и выходила на парадную лестницу, в то время как новые жильцы имели свой собственный выход только через черную.

Семья эта привлекла внимание жильцов. Здесь, в старомосковском переулке, издавна облюбованном актерами, большая часть которых уже оставила свои звучные имена на мемориальных досках близлежащих домов, имели вкус к экстравагантности. Приехавшие люди были циркачами. Глава семьи, известный иллюзионист Казиев, brutальный восточный человек, оказался лицом номинальным, поскольку, перевезя семью в новую квартиру, съехал к своей сожительнице, девочке из кордебалета; маман, как называл мать молодой Казиев, была ассистенткой своего иллюзорного мужа-иллюзиониста и, когда снимала с себя золотое платье и помаду, с большим запасом обводившую тонкогубый рот, обращалась в мырлистую нервную блондинку со злыми и несчастными глазами.

Но мальчик был великолепен. Грубая чернота отца смягчалась в нем до густо персидской коричневоности, а смугло-матовая кожа была натянута на лоб и скулы так туго, что, казалось, была чуть маловата. Он набрал уже полный мужской рост, но еще не огрубел костями, а длиннопалые руки были истинно королевской породы, так что всем, кто обращал на них внимание, хотелось немедленно убрать свои собственные руки в карманы...

В школе приход его подорвал всю установившуюся иерархию. Девочки перестали щелкать глазами в разных направлениях, поголовно влюбившись в новичка, мальчики из кожи вон лезли, чтобы поставить его на подобающее новичку место. Однако он победил, не вступая в борьбу. Оказалось, что он, как и его родители, тоже «цирковой». Это значило, что в отличие от нормальных школьников он работал, и уже не первый год, разъезжая время от времени с гастролями, многое умел в таинственной цирковой профессии, а в школе учился от случая к случаю. В цирковом же училище он не поступал только по капризному решению учиться непременно в ГИТИСе, причем в каком-то специальном наборе для режиссеров цирка, который и бывает – то всего раз в три года...

Таким образом, он сразу оказался вне конкуренции, а если прибавить к этому его искреннюю незаинтересованность в роли главного героя класса, то естественно, что малопривлекательное для него первенство он получил без боя.

Единственным преимуществом, которым он воспользовался, было преимущество выбора себе приятелей. Он выбрал Гошу и почти поселился у него на кухне.

Долгими часами они сидели также и в Гошиной комнатке, задуманной некогда как

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
спальня для прислуги, читали и разговаривали. Читал Казиев. Говорил Гоша.

Выросший в книжных завалах потомственной гуманитарной семьи, под воздействием ли случайностей в расположении звезд или книг на книжных полках, Гоша разработал для себя причудливое мировоззрение. Он называл себя христианским социалистом, изучал Маркса и Блаженного Августина, и это прихотливое сочетание родило в нем снобистическое высокомерие.

Он чувствовал себя посвященным в собственноручно созданный орден и был с ног до головы пронизан важностью самопосвящения.

Многие его одноклассники проходили через привлекательный Гошин дом, но ни сторонников, ни учеников он не набрал.

Новенький Казиев выслушал путаную и вдохновенную лекцию и по научному социализму с видом непроницаемым, но внимательным. Когда же Гоша закончил, Казиев сказал:

– Занятно... Хотя, честно говоря, меня не интересует умственное, меня интересует телесное. Умственное – это еще куда ни шло, а вот все это социальное, общественное – это я вообще в гробу видал, понимаешь?

После этого он снял ботинки, встал в узком проходе между диваном и старым шкафом и сделал двойное сальто.

И заявление Казиева, и этот неожиданный курбет не оставляли места для Гошиних интеллектуальных подвигов. Все враз оказалось засыпано прахом.

– Я, понимаешь ли, с детства над телом работаю, – объяснил Казиев. – У меня, например, растяжка плохая была. Я поработал, растянулся на китайский шпагат. Я со своим телом все могу, – он погладил себя по груди. – А с этими твоими теориями – что? В царя стрелять? Революции устраивать? Нет, неинтересно... Меня сейчас в четыре номера зовут... на эквилибр, на вольтижировку и в две группы воздушных гимнастов. Тоже неинтересно. Йогу я смотрел. Нет, не то. Моему телу другого хочется. Китайские дела тоже смотрел. Там что-то есть... – И с неожиданным мгновенным вдохновением:

– Мне кажется, если правильно подойти, можно летать... Это должно быть так же просто, ну... как с женщиной спать. – И тоскливо добавил:

– Знать бы только чем...

У Гоши дух захватило. И Фурье, и Блаженный Августин слиняли. Слишком это было неожиданным. К тому же проходное упоминание о женщинах тайно уязвило Гошу, который давно уже тяготился богатой теоретической вооруженностью в этой области при полном отсутствии самого бедного практического опыта. Он вдруг остро ощутил, что и научные его изыскания страдают от нехватки жизненности, каким-то странным образом связанной с женщинами, с простым и сильным обладанием ими...

Однако дружба на этом месте только укрепилась. Казиев испытывал необъяснимое уважение к Гошиной интеллектуальной мощи как к вещи ценной, но совершенно бесполезной. Казиева также привлекал и профессорский дом, по тонкому сходству с изнанкой цирка, – в этом неряшливом доме постоянно шли разговоры, связанные с общей закулисной жизнью. Люди, здесь мелькавшие, не только смотрели телевизионные передачи, но и вели их и говорили обо всех событиях так, словно знали их подлинный, тайный, скрытый смысл и понимали тайные механизмы движения... Создавалось впечатление, что там, на этих отвлеченных уровнях, как и в цирке, все решалось незначительным кивком, неожиданным рукопожатием, тонкой взяткой и капризом фаворитки... Это давало молодому Казиеву приятнейшее подтверждение, что его доскональное знание одной небольшой сферы жизни распространяется безгранично.

Очень быстро пришелся он к этому дому: приносил хлеб как раз тогда, когда он кончался, и молоко именно в тот момент, когда у Лены болело горло и она, грохая дверцей холодильника, обиженно говорила:

– Ну вот, молока, конечно, нет.

Тут он входил с черной лестницы в кухню с двумя бело-голубыми картонками.

И дом привык к нему: образовалось у него и свое постоянное место на кухне, на широкой деревянной скамье, под фиктивным окном. Когда-то окно было настоящим, но давно, еще при жизни дедушки Михаила Михайловича, родоначальника профессорской династии и первого хозяина этой квартиры, к дому сделали одноэтажную пристройку и заложили кухонное окно кирпичной кладкой, и с тех пор большая кухня освещалась только пыльным светом из высоко прорубленного окна, выходящего на лестницу, да электричеством, которого никогда не гасили.

В электрическом свете лицо Казиева – он приобрел довольно быстро домашнее прозвище Казя, а имени его в доме так и не знали – выглядело более желтым, глаза более темными, а рама бывшего окна, по безразличной бесхозяйственности владельцев так и не снятая, казалась идеальной рамой его буднично неподвижной фигуры.

– Просто поразительно, – удивлялась Ольга Александровна, чуть шевеля точными бровями, – гимнаст, акробат, такой подвижный, казалось бы, а когда сидит – точно каменное изваяние!

Так оно и было. Неподвижность его была свободной и полной.

Однажды утром, уходя в школу, Гоша сказал матери:

– Казя заболел. Он сейчас один, мать на гастролях. Может, зайдешь к нему попозже? Сейчас-то он еще спит, конечно...

Ляля кивнула. У нее был свободный день. Расписание было удобное, она сама его себе составляла, три дня было свободных. Отправив Гошу, приняла горячую ванну, намазала распаренное лицо густым, лимонного запаха кремом, прибрала слегка на кухне, позвонила двум-трем подругам и заварила свежий чай. Сделала два толстых бутерброда с сыром, поставила на поржавевший местами жостовский поднос чашку со сладким чаем и тарелку с бутербродами и, накинув поверх старого шелкового халата вытертую лисью шубу, прямо в шлепанцах на босу ногу вышла на черную лестницу, чтобы отнести незамысловатую еду заболевшему Казиеву. Морщась от помоечных запахов запущенной лестницы бывшего приличного дома, поднялась по сбитым ступеням от своего некогда почтенного бельэтажа на последний, четвертый этаж и, не звоня, толкнула дверь Казиевых. Дверь, как она и предполагала, была не заперта.

– Казя! – окликнула она с порога, разглядывая квартиру и прикидывая, каким это образом переставили стены, – кухня у Казиевых была маленькой, при перепланировке ванная отошла к соседям и ее пришлось выгородить в торце кухни, догадалась Ляля. Зато кухонное окно здесь было, и Ольга Александровна вздохнула, пожалев о своем заложенном окне.

Она приоткрыла дверь в комнату при кухне, где, по ее представлению, должен был жить Казиев. Так оно и было. На узкой кушетке, немного запрокинув голову на плоской подушке, спал Казиев.

Ольга Александровна с подносом, в шубе, сползающей с одного плеча, подошла к нему и увидела, что он не спит. Глаза его были полуоткрыты, лицо влажно блестело.

Она поставила поднос на край письменного стола и, положив руку ему на лоб, склонилась над ним:

– У-у, температурища... Да ты совсем больной, Казя!

Он лежал под тонкой ярко-желтой простыней, укрытый до шеи, и был похож на фараонову мумию всем очерком тела, и особенно это сходство укреплялось ступнями, носки которых не были расслабленно вытянуты вперед, что обычно для лежащего человека, а твердо подняты вверх.

– Казя, Казя, – позвала его Ляля. Замедленным и ненамеренным движением она сдвинула вниз простыню, открыв по-египетски мускулистую грудную клетку и узкий живот, всю середину которого, закрывая и пупок, занимал смуглый детородный член, к которому она протянула безотчетную руку, и он двинулся к ней во встречном движении.

Глаза Кази темно блестели из-под опущенных век.

– Возьми! – сказал он хрипло и требовательно.

Бедная Ляля почувствовала, как всю сердцевину ее тела, от желудка донизу, свело такой острой судорогой, что, не помня себя, сбросила шубу, шлепанцы, еще что-то лишнее и через мгновение взвилась, запрокинув в небо руки, в таком остром наслаждении, которого она, неутомимая охотница за этой подвижной дичью, во всю жизнь не извела...

К концу короткого дня, в сумерках, пришел из школы Гоша, потом Леночка... Ляля покормила их кое-каким обедом. Часам к девяти появился и Михаил Михайлович, усталый и, как обычно, отвлеченный... Она подала еще раз обед, вымыла посуду.

Под вечер Гоша поднялся наверх к Казиеву, пробыл там недолго, а вернувшись и поставив на стол поднос с нетронутым чаем и ссохшимися бутербродами, сказал матери:

– Все-таки наш Казя во всем оригинал. Говорит, я, когда болею, не ем, не пью, лежу три дня, не зажигая света, а на четвертый встаю здоровый. Ты слышала такое?

Ляля пожалала плечами. Все эти часы, прошедшие с тех пор, как она вернулась от Казиева, она испытывала такой пожар, такую нарастающую жажду, как будто каждая клетка ее тела жаривалась раскаленным ветром и только единственной влагой могла утолиться.

Домочадцы разбрелись по комнатам, одна Ляля сидела на кухне, едва не теряя сознание от нетерпения, ждала, когда все улягутся. Но дом был поздний: стучал на машинке Михаил Михайлович, Лена пыталась дозвониться подруге по междугородному и беспрерывно щелкала диском телефона, читал в своем кабинет-чулане Гоша. Устав от нетерпения, Ольга Александровна оделась и вошла к мужу:

– Миша, я совсем забыла к Прасковье сегодня зайти. Она меня ждет.

– Куда так поздно, Лялячка? Может, проводить тебя? – неуверенно запротивился муж. Но выходить на улицу ему не хотелось, и он неохотно отпустил ее:

– Неугомонная ты, Ляляка...

Прасковья Петровна, давно одряхлевшая нянька самой Ляли и ее детей, жила неподалеку, в коммунальной квартире, и Ляля часто ее навещала. Но не так часто все-таки, как сообщала об этом домашним. Преданная своей бывшей воспитаннице всей страстью прирожденной прислуги, Прасковья была верным прикрытием Лялиных походов.

Ляля вышла из парадной двери, обогнула дом с заднего фасада и поднялась на четвертый этаж. Дверь Казиевых была по-прежнему открыта. Она толкнула ее и вошла.

Казиев лежал все в той же позе, так же, как и утром, укрытый простыней, но было темно и в темноте не видно, что простыня желтая. Глаза его были все так же полуоткрыты. И в остальном было все то же, что и утром. Он не произнес ни слова, даже не двинулся с места, только однажды протянул к ней руки и коснулся темных сосков ее крупной груди, щедро нависавшей над узкой талией...

– Сошла с ума, совсем сошла с ума! – всю ночь твердила себе Ляля, ворочаясь рядом с мужем, то сбрасывая с себя одеяло, то натягивая его до шеи и вытягиваясь и стараясь почему-то держать носки ног вверх, как это делал Казиев.

В шестом часу утра, когда домашние еще спали, она опять поднялась по вонючей лестнице, и опять было все то же. Через три дня Казиев действительно выздоровел. Жизнь наладилась каким-то вполне безумным образом: рано утром, в самый сонный час, она выскальзывала из постели и поднималась к нему. И в позднее вечернее время, когда расходились гости и дом затихал, она это делала. И если что-нибудь мешало ей выскочить в этот час, она всю ночь не спала, все ожидая утреннего свидания. Он был бессловесен и безотказен, и Ляле казалось, что никаких слов и не нужно: таким исчерпывающим и обжигающим было их общение.

Мать Казиева все еще разъезжала по гастролям, и Ляля отодвигала от себя мысль о том, что в один момент все должно прекратиться. Это была такая темная, такая неизбежно смертельная туча, несущая всему конец, что Ляля, дорожа каждым мгновением и каждым касанием как самым последним, вся была сосредоточена на одном: еще однажды достичь берега, где мощный мальчик освобождал ее от себя самой, давно уже оказавшейся постылой, состарившейся и скучной... Еще раз, с помощью этого механического, в сущности, средства, достичь огненного сполоха, освобождающего ее от памяти души и тела.

Посвящавшая всегда в свои романы двух-трех близких подруг и находя в том большую прелесть, на этот раз Ляля никому и словом не обмолвилась. Было страшно.

Она ходила на службу, говорила что-то привычное о Флобере и Мопассане, покупала продукты в подвале у знакомой директорши магазина, варила еду, улыбалась гостям и все ждала минуты, когда можно будет выскользнуть на черную лестницу, заклинаая медлительную тьму: «Последний раз! Последний раз!»

...Проводила вечерних посетителей, сбросила тесную приличную одежду, надела старый шелковый халат, паутинно-серое, настоящее японское кимоно на лимонного цвета подкладке... На лестнице замедлила шаги сознательным усилием. Не бежать вверх, остановить хоть на минуту внутренний лихорадочный бег, движение вскипающих пузырьков крови в сосудах – это было все, что могла она сделать, чтобы окончательно не разрушились те надежные, разумные границы, в которых хорошо и прочно держалась ее жизнь. И, поднимаясь по лестнице, она словно оказалась в середине трепещущей трехголосья: главный, ведущий флейтовый голос распевал на четыре такта «По-след-ний раз! По-след-ний раз!», второй, дополнительный, был трехступенчатый барабанный стук сердца – систола-диастола-пауза... а третьим, навязчивым и детским, был невольный счет ступенек, которых в шести пролетах было шестьдесят шесть...

Она шла, глотая слюну, временами останавливаясь, чтобы успокоить дыхание, и думала, что вот настигло ее наказание за всю легкость ее беззаботных любовей, за высокомерную снисходительность к любовному страданию, именно к этой его разновидности, к женской и жадной неуголимости чувств...

Дверь, как всегда, была не заперта, и грохотала музыка. Сильная, грубая и примитивная музыка этого поколения. Раньше Ляля никогда не слышала этой музыки у Казиева. Она насторожилась, – но все, кроме музыки, было как обычно: темная кухня, звук капающей воды и стройная полоска света из комнатухи. Ляля отворила дверь и увидела нечто, не сразу понятное... Во всяком случае, она еще успела сделать несколько шагов, прежде чем сработали все положенные нервные импульсы, прошли по синпасисам, добежали от глаза к мозгу, к сердцу, ударили жгучей болью по сокровенному низу... Прямо перед ней медленно-тягучими движениями поднималась и опускалась бледная спина ее дочери Лены, и влажные волосы жалким хвостом слегка бились по веснушчатым лопаткам. Лица Казиева она не видела, как и он не мог видеть вошедшую, но она прекрасно знала, какое там, на плоской подушке, непроницаемое, смуглое и прекрасное лицо...

Ляля попятилась к двери и вышла из комнаты, из квартиры...

Дети обнаружили ее утром на кухне, в старом плетеном кресле. Она сидела, уставив синий бесчувственный взор в заложное кирпичом окно. Ее окликали, она не отзывалась.

Лена вызвала «скорую». Натренированные инфарктно-инсультивные врачи были в недоумении. Это был не их пациент, предложили вызвать специальную, психиатрическую. Приехали и эти. Ольга Александровна смиренно сидела в кресле, не отвечая на вопросы. Врачи щупали ее мягкие теплые руки, водили перед лицом глупым металлическим инструментом. Она покорно протягивала руки, а потом неуверенным, но вполне определенным движением снова укладывала их на подлокотники.

Врачи перебрасывались рваными словами неузнаваемой латыни, недоумевали. Предложили Лене немедленно госпитализировать мать, Лена отказалась. Врачи взяли с нее подписку. Лена с Гошей пытались уложить мать в постель, но она только качала головой и все смотрела и смотрела в заложное окно.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
Лена вызвала отца. Тот прилетел из Киева, где проводил какую-то конференцию. Ольга Александровна позволила мужу увести себя в спальню, впервые за двое суток легла в постель. Пригласили лучших психиатров. Все недоумевали, говорили разное, но сходились в одном: острая форма аутизма.

Предлагали клиники, разные лекарственные схемы, речь зашла даже о шоковой терапии. Когда об этом услышал Михаил Михайлович, человек умеренный и осторожный, он отказался от какой бы то ни было врачебной помощи и сказал дочери:

– Леночка, давай-ка мы сами как-нибудь...

Так и шли дни за днями. Бедная Ольга Александровна находилась в крайнем и мучительном недоумении. Она вполне ощущала себя самой собой, но все словно разбилось на куски и перепуталось. Иногда ей казалось, что вот сделай она маленькое усилие, и мир снова сложится в правильную, как в детской книжке, картинку. Но усилие это было невозможным.

Кирпичная кладка замурованного окна была для нее чрезвычайно привлекательна. Она как будто знала, что именно в трещинах кирпичей, в их простом и правильном, сдвинутом по рядам чередовании есть спасительный порядок, следуя которому можно соединить всю разрушенную картину ее жизни. А может быть, цемент, навечно соединивший отдельные кирпичи, был так притягателен для глаз Ольги Александровны. Цемент, скрепляющий отдельные в целое...

Еще Ольгу Александровну беспокоило, что она забыла что-то чрезвычайно важное, и она все всматривалась в замурованное окно, ожидая, что оттуда придет помощь. Ее укладывали вечером в постель, но она упрямо пробиралась на кухню, садилась в мягко шуршащее старым плетением кресло.

Дом опустел, как берег после отлива. Только непомерное количество чашек и стаканов напоминало о том, как много здесь толклось людей всего несколько недель тому назад.

Однажды, когда среди ночи Ольга Александровна сидела на своем шелестящем кресле, кирпич вдруг стал бледнеть и растворяться, и на фоне серо-коричневого несолнечного света она увидела запрокинутое лицо Казиева. Глаза мерцали из-под тонких, чуть оттянутых в углах век, и видела Ольга Александровна это лицо сверху. А потом его лицо стало плавно отдаляться, и она поняла, что мальчик летит, деревянно лежа на негнувшейся спине, вытянув чуть отведенные руки вдоль туловища и слегка покачивая преувеличенно крупными кистями. И он удалялся в таком направлении, что Ольга Александровна вскоре видела лишь голые ступни его ног да развевающиеся темные волосы, распавшиеся на два неровных полукрыла...

Заложное некогда кирпичом окно превратилось в светящийся, все возрастающей яркости экран, и свет делался менее коричневым и более живым, насыщался теплым золотом, и Ольга Александровна ощутила себя внутри этого света, хотя чувствовала еще некоторое время скользкое прикосновение выношенных подлокотников.

Босые ноги ее по щиколотку погрузились в теплый песок. Она огляделась – это была иссохшая пустыня, не мертвая, а заселенная множеством растений, высушенных на солнце до полупрозрачности. Это были пахучие пучки суставчатой эфедры, и детски маленькие саксаулы с едва намеченными листьями-чешуями, прижатыми к корявым стволам, и подвижные путаные шары волосатого перекати-поля, и еще какие-то ковылистые, перистые, полувоздушные и танцующие... Тонкий, едва слышимый звон, музыкальный, переливчатый и немного назойливый, стоял в воздухе, и она догадалась, что это одиноко летящие песчинки, ударяясь о высохшие стебли трав, издают эту крошечную музыку. Живые, медленные, но все же заметно глазу движущиеся холмы из светлого сыпучего песка делали горизонт неровным, бугристым. На западе лежал дынный бок темно-золотого, с багровым отсветом солнца, нижняя часть которого была словно обьедена огромными челюстями холмов. Солнце уменьшалось, утопая, всасываясь в бугристую зыбь, и, когда от него остался лишь звездчатый букет последних косых лучей, она увидела, что возле каждой травинки, возле каждого безжизненного стебля загоралась живая и тонкая цветовая оболочка, нежнейшая радуга, которая играла, переливалась, звеня еще более тонким звоном, словно песчинки, ударявшиеся прежде о стебли, теперь бились о радужные сполохи... И в этот миг Ляля ощутила присутствие...

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) – Господи! – прошептала она и опустила лицо в круглый кустик эфедры, еще объятый догорающей радугой.

..Вышедшая утром на кухню заспанная и отекая Леночка нашла там порядок и чистоту. Даже давно не чищенная плита сверкала, и два чайника дружно кипели на задних конфорках. Мать стояла к ней спиной, и правый локоть ее ходил вслед за куском сыра, который она терла на большой металлической терке.

Ольга Александровна обернулась к дочери, улыбнулась виноватой улыбкой и сказала как ни в чем не бывало, сразу разрешив многочасовые споры врачей о природе ее немоты, неврологической или психологической:

– Гренки с сыром, да?

Все было почти по-старому: мать готовила завтрак, кипел чайник. Лена села в плетеное кресло и заплакала. И, заплакав, увидела она, что и лицо матери залито слезами. Это были не обычные слезы – никогда, никогда не прекратились они у Ольги Александровны...

Прошло уже много лет с тех пор, а слезы все еще текут из глаз пугливой и сухой старушки, какой стала теперь веселая, смешливая и любвеобильная Ляля. Она на инвалидности. Врачи написали ей такие латинские слова, которые освободили ее от необходимости преподавать французскую литературу, когда-то ею столь любимую.

Муж ее, Михаил Михайлович, к ней не переменялся. Он выводит ее на прогулки к Тверскому бульвару, рассказывает по дороге о кафедральных делах. Правда, он единственный, кто не замечает некоторого ее слабоумия. Михаил Михайлович избран недавно в Академию, кажется, не в большую, а педагогическую.

Лена защитила диссертацию, замуж не вышла, и неизвестно, имеет ли она любовников.

Гоша сделал большую карьеру, хотя и перестроился: он больше не исповедует ни христианских, ни социально-утопических идей. Он крепкий экономист, специалист по межотраслевой диффузии капитала в условиях... здесь автору не хватает слов. Короче, он специалист.

Молодой Казиев в отличие от Гоши карьеры не сделал. Что-то сломалось в его жизни. Он не поступил на режиссерский, попал в армию, отбыл полтора года в жестокой азиатской войне и вернулся оттуда глубоко изменившимся. Стал учеником мясника в маленьком магазинчике на Трубной, быстро обучился нехитрой мясной науке, получил повышение и работает по сей день в пахнущем старой кровью подвале. По-прежнему красив, но сильно раздался, заматерел и грубо, по-восточному любит деньги. С Гошей они не встречаются, хотя и живут в одном подъезде.

А Ольга Александровна несет малые, ей посильные хозяйственные тяготы, ходит немного шаткими шагами по кухне, заливаясь светлыми слабыми слезами и испытывая непрестанную муку сострадания ко всему живому и неживому, что попадает ей на глаза: к старой, с мятым бочком кастрюле, к белесому кактусу, единственному растению, смирившемуся с темнотой их кухни, к растолстевшей, вечно раздраженной Леночке, к рыжему таракану, заблудившемуся в лабиринте грязной посуды, и к самому прогорклому и испорченному воздуху, проникающему в квартиру с черной лестницы. Все она мысленно гладит рукой, ласкает и твердит про себя: бедная девочка... бедная кастрюлька... бедная лестница... Она немного стесняется своего состояния, но ничего не может с этим поделать.

Ее душевная болезнь столь редкая и необычная, что лучшие профессора так и не смогли поставить ей диагноз.

Гуля

Именины у Гули приходились на Рождественский сочельник. Исповедуя с детства неосознанно, а с годами все более сознательно и истово всемирную и тайную религию праздника, Гуля ни разу в жизни не пропустила без празднования дня своего Ангела. И в годы ссылки, и в лагерные годы она устраивала из ничтожных подручных средств, добывала из воздуха эти хрусткие крахмальные зернышки праздника, склевывала их сама и раздавала тем, кто оказывался возле нее в эти минуты.



Она отмечала день Ангела, день своего рождения, а также дни рождения своей покойной матери и сестры, день свадьбы с первым мужем, а также Пасху, Троицу, все двенадцатые праздники и большую часть казенных. Новый год она отмечала дважды, по старому и по новому стилю, также и Рождество: сначала католическое, оправдывая это польской кровью бабушки, а потом и православное. Она не пропускала Первое мая, Восьмое марта, чтила и Седьмое ноября. По возможности она придерживалась определенных ритуалов. Так, день своего рождения, приходящийся на начало лета, на третье июня, она любила праздновать с утра. Если позволяли обстоятельства, она вместе с какой-нибудь приятельницей уезжала на сельскохозяйственную выставку или в Ботанический сад, гуляла часа два, рассказывая приятельнице ослепительно скандальные истории своей ранней юности, а потом они добирались до «Праги», где съедали по возможности празднично-комплексный обед за восемь рублей старыми, а впоследствии за рупь тридцать новыми.

Потом они шли к Гуле отдыхать, а отдохнув, пили кофе с заготовленным заранее ликером, мороженым и конфетами «Грильяж», пока они были еще доступны их зубам и не исчезли окончательно из продажи.

Когда количество выпитого ликера значительно превышало объем кофе, Гуля брала со стены гитару и, точно соблюдая интонации и произношение, воспроизводила Вертинского, многозначительно перемалчивая некие жгучие воспоминания.

В целом это называлось «покутилки», и любимой соучастницей этих вегетарианских оргий была Веруша, Вера Александровна.

Ее роль в течение жизни много раз менялась – она была восторженной поклонницей, наперсницей, соперницей и даже покровительницей в разные периоды их слоистой, как геологический разрез, жизни. Вера Александровна, полуродственница, полутень, папиросная бумага памяти и самое убедительное из имеющихся у Гули доказательств реальности ее собственной жизни...

Задолго до Святой Евгении, приходящейся на канун Рождества, Вера Александровна начинала беспокоиться, что не сможет сделать в этом году хорошего подарка Гуле и та будет расстроена.

На этот раз она разыскала среди доставшихся ей от покойной родственницы бумаг старую фотографию, долженствующую подтвердить их мифическое с Гулей родство, которое держалось на двоюродной сестре Гулиной матери, якобы бывшей вторым браком за дедом Веры Александровны. На упомянутой фотографии была изображена благородная пара, и Вере Александровне хотелось думать, что она обнаружила это самое хрупкое доказательство родства. К фотографии, составляющей духовную часть именного подарка, Вера Александровна присоединила флакон югославского шампуня и плохонькую коробочку конфет. Эти конфеты особенно ее беспокоили, она даже спросила у Шурика, что он думает по поводу этой маловыразительной коробочки. Шурик посмотрел на коробочку с преувеличенным интересом и сказал:

– Чудно, мамочка, чудно! Просто композиция какая-то получилась. Очень изящный подарок.

И слегка успокоенная Вера Александровна пошла на кухню греть щипцы. Пока она завивала желтовато-белые легкие волосы, Сан Саныч густо мазал гуталином свои туристические ботинки, любимую обувь, сочетававшую большую крепость с малой ценой, и оба они, мать и сын, вступали в увертюру Гулиного праздника, состоящую из запаха перегретых щипцов, подпаленных волос, гуталина и невинного шипра.

..На овальном, покрытом заляпанной чайной скатертью столике стояло продолговатое блюдо с сочивом и бутылка кагора. Маленькая елочка стояла в большой, надбитой сверху и по этой причине не проданной вазе. Газеты с Джульеткиным дерьмом, обычно разложенные равномерно по всей комнате, в честь праздника сгребались в угол, а иногда и вовсе выносились на помойку.

Последние часы сочельника гости проводили за постным столом, а когда время подходило к восьми и кончалась Всенощная у Ильи, Гуля вступала в первый день после Рождества Христова, что знаменовалось подачей мясных закусок, иногда и горячих. Кончался двухчасовой пост, начинался мясоед.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
Как славно они расположились у стола. Сан Саныч любовался ими, воздушными старушками, избранницами, последние двадцать пять лет поддерживающими тонус, выплачивая штрафы за каждое упоминание о болезнях, физических отправлениях и, не дай Бог, о смерти. Литература, искусство, воспоминания молодости, светские сплетни – вот был круг их всегдашних разговоров.

Теперь они толковали о шляпках: о неумении молодых женщин носить шляпку, этот признак пола, свидетельство таланта или бездарности, знак социальной принадлежности и показатель интеллектуального уровня. Конкретно – о шляпках Зинаиды Гиппиус. Потом Гуля как-то легко соскользнула к преимуществам «шведского» брака перед «менаж а трау»... потом по какой-то извилистой тропке к Дягилеву, к балету вообще, к Майе Плисецкой..

Говорили... говорили... Рождественская звезда давно уже потерялась в россыпи бесчисленных нерождественских, а по длинной комнате, от трехстворчатого высокого окна к прорубленной в коридор двери, нарушавшей аристократическую анфиладность этой бывшей хорошей квартиры, тек сквозняк, остужая старушечьи спинки с вытертыми лопаточками.

Слякотная, ненастоящая зима, словно устыдившись, встречала Рождество заказным календарным морозом. Вялый ветерок от окна делался все более жестким. Гуля положила на широкий мраморный подоконник старую шубу, но настроенное на ноль отопление не управлялось со стремительным похолоданием.

Накинув на плечи платки, шарфы и Гулины халаты, заговорили о холодах семьдесят третьего или пятого – тут они слегка путались, – сорок первого, двадцать четвертого и, прости Господи, тринадцатого.

Скушали все, что могла предложить Гуле кулинария «Праги»: и фаршированную утку, и мясо по-влажски, и волованы с какой-то ерундой внутри. И выпили бы все, да Гуля по старой привычке «скроила» маленький графинчик коньяка и полбутылки принесенного в подарок португальского портвейна, который показался Гуле немногим лучше «Таврического»...

Когда разговор пошел о погоде, Джульетка сошла с диванчика и, показывая всем видом презрение к такому обывательскому направлению разговора, легла на бархатную подушку.

Не было у них никакого внешнего сходства, у Джульетки и Гули. Джульетка была нечистопородной гладкошерстной таксой, а Гуля – породистая тонконогая и совершенно борзая старуха с ноздрями как фигурные скобки и высоко поднятыми, тонкими, кругло нарисованными бровями. Их сходство лежало глубже и не было заметно невнимательному. Выражалось оно в аристократическом пренебрежении к мелочам, в скверной поверхности и необыкновенно прочной изнанке характера.

Гуля одновременно с Джульеткой почувствовала легкое раздражение и совсем уж было предложила партию «шмине», но неожиданно Сан Саныч, дотоле скромно любовавшийся этими облезлыми, ароматными, ветхими, геркулесовыми дамами, девицами, старыми менадами, ангелицами и ведьмами, Сан Саныч, скромно молчавший весь вечер, тихо произнес:

– Гуля, у тебя ужасно дует. Надо заклеить окно. Завтра я приду после работы, часов в половине восьмого, и сделаю. Не убегай, пожалуйста.

– Ты прелесть моя! – взвизгнула Гуля. – Шурик, ты душка! Как мило, Верочка, с твоей стороны, что ты соблазнилась деторождением!

И, легко вскочив с кресла, она подпорхнула к Сан Санычу и, упершись в плечо упакованным в грацию прославленно-пышным бюстом, поцеловала его в лысеющий затылок. Заговорили о детях.

Спала Гуля плохо. Болел живот, к утру пришлось дважды встать в уборную. Гуля грешила на портвейн. Джульетка из солидарности тоже нагадила, и прямо на полу, так как Гуля, ложась спать, забыла постелить ей очередную порцию «Литературки». Впрочем, это обстоятельство скорее даже умилило Гулю – обе они обыкновенно страдали запорами, портвейна Джульетка не пила, так что ее расстройство можно было объяснить исключительно их глубокой духовной связью.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru)  
Гуля замерзла, долго не могла согреться под двумя одеялами и шубой, живот не переставал болеть, и заснула она лишь после того, как согрела в чайнике воды и набрала в грелку.

Проснувшись после полудня, она еще часок лежала в постели – никогда не любила сразу вставать, – испытывая приятное чувство пустоты и легкости в животе и радуясь жесткому зимнему солнцу. В комнате стоял лютый холод, на подоконнике лежал нежный валик изморози. Гуля с живым чувством рассматривала свою комнату – в таком ярком свете давно ее не видела. Комната была высокой, непропорциональной – это была треть трехколонной залы, лепнина делала здесь плавный поворот, и Гуля, въехавшая в эту комнату вскоре после возвращения из ссылки, наскоро выйдя замуж за импозантного хозяина этой самой комнаты, долго искала место для кровати, поскольку, имея свои собственные отношения с пространством, никак не могла привести в соответствие этот обрывок лепнины на потолке и свое собственное лежащее в кровати тело... А месяца через три после этого экстравагантного брака хозяин комнаты скоропостижно скончался, оставив Гуле свое пыльное, ветхое, но вполне антикварное наследство.

Комната была ярко-синяя. Гуля чуть было не сделала ее красной, но Веруша сказала, что ноги ее в доме не будет, и Гуля приказала малярам красить синим. Оказалось прекрасно: Гуля жила как бы на фоне театральной декорации, столь не правдоподобно, небытово синели стены, и все вещи – обшарпанная карельская береза, бронзовая угасшая рама потемневшего зеркала – подтягивались стройно на этом не природно-синем.

Немытая посуда на столе стояла словно выстроенная для натюрморта, и Гуля, оперев подушку в изголовье ладьи, улыбалась. На этой ладье она, не знаящая бессонницы и кошмаров, ежевечерне отправлялась в небесное плавание, не забывая шепнуть: «Слава тебе, Боже, еще один денек мы с тобой прокувыркались. И пожалуйста – никаких снов. Если можно...»

Но на этот раз, под утро, был какой-то сон, но он всплыл как-то не сразу и омрачил Гулино праздничное настроение. Сон был бессюжетен. Ощущение чужой власти, замкнутого пространства. И грубой, грубейшей фактуры. Прочь, прочь, не хочу вспоминать! Сукно на столе... Капитан Утенков, с гнуснейшей бранью, нежно направленной в ухо... И пошел... и пошел... Смерд... Хам... Спас. Прочь пошел! Не хочу!

Но сон уже вырвался на поверхность и вспоминался против воли. Стоит в кабинете, на ковровой, очень чистой дорожке, в больших омерзительных ботах она, Гуля, и капитан Утенков смакует ее девичью княжескую фамилию, и в ней вдруг поднимается тяжелое желание, бьет, как большая рыба хвостом. А Утенков делается не Утенковым, а кем-то любимым, родственно близким... уточняется и перестает вовсе быть Утенковым... и все это длится, и не завершается, и не разрешается... Глупость! Фу, глупость какая! Ну ведь прошу же, пожалуйста, не надо мне снов...

Ах, да! Шурик придет заклеивать окно. Как он мил. Да, окно. Надо встать и прибраться. Ванну бы горячую принять. Чистить неохота. Соседи свиньи. Грязь необыкновенная в ванной. Ногами встать противно, не то что ванну принять...

И потекло ее утро. В три она выпила кофе. Ответила по телефону. Звонили вчерашние гости и к соседям. Почитала французский детектив. Скучно. Погрела сосиску. Джульетка есть не стала. Опять позвонили – Беатриса, осевшая в России еврейка из Америки, приятельница по ссылке, позвала в гости. «И поеду! – решила Гуля. – Черт с ним, с окном! Зима ведь, ясно, что холодно. И должно быть холодно. А Шурик придет, нет ли – еще неизвестно».

– Приду, Бетька, приду! – пообещала Гуля. Только повесила трубку, позвонил Шурик, спросил, есть ли в доме вата.

– Может, отложим? – хотела пойти на попятную Гуля.

– Ни в коем случае. Ты простудишься. Такой холод. И сквозняк у тебя!

И Гуля перезвонила Беатрисе, объявив, что придет, но несколько позже.

Сан Саныч пришел в восемь. Гуля, чувствуя, что у нее рухнет визит и праздник, вильнув хвостом, выскальзывает из рук, начинала злиться на Шурика, что опоздал, на себя, что согласилась на оклейку окон, без которой всегда прекрасно

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) обходилась, и даже на Беатрису, милейшую, с грубым мужским голосом, нежную, до идиотизма наивную Беатрису.

– Страшная стужа, градусов тридцать, не меньше, – мерзлым голосом проговорил Сан Саныч, снимая пальто в комнате у Гули. На вешалке в передней никто не раздевался. Считалось, что если пальто не украдут, то наверняка мелочь из кармана вытрясут. – Стужа, говорю, ужасная, – продолжает Сан Саныч, вынимая из трепаного портфеля мотки бумажных лент, – поставь, пожалуйста, чаю. И кастрюлю с водой, клейстер надо сварить.

Гуля обреченно пошла на кухню, поняв, что в гости сегодня не выбраться.

Наскоро выпив чаю, Шурик залез на подоконник и открыл внутреннюю раму. Медные шпингалеты с длинными, во всю раму задвижками прекрасно работали, даром что было им лет сто, а вот сами рамы сгнили. Пласт холодного воздуха, хранившийся между ними, мгновенно разбух и занял всю комнату.

Сан Саныч ножом пропихивал в щели тонкие жгутики ваты. Гуля сидела в кресле с Джульеткой на руках и любезным голосом спрашивала, чем она может быть полезна.

Сан Саныч любил Гулю. Он знал ее с детства, но как-то кусками. Ее трижды сажали: дважды, как она считала, за мужей, а один раз – так она сама объясняла – за излишки образования. Этот последний раз случился уже после войны, в небольшом отрезке ее незамужней жизни. Обычно мужа у нее скорее находили один на другого, но тут как раз был такой период безмужья, и она пошла на службу.

Кроме гимназии Гуля никаких учебных заведений не кончала, но языки знала хорошо, а по понятиям нового времени даже великолепно. Мать Гулина была полунемка, выросшая во Франции, так что оба эти языка дома были в ходу. К тому же жила у них англичанка, мисс Фрост, которая, вопреки общему понятию об англичанах, была невероятно болтлива. Она наполняла своим неумолчным птичьим говором весь дом, и не выучить в ее присутствии язык мог разве что глухой. Легко усваивающая языки четырнадцатилетняя Гуля, влюбившись в последнее предвоенное лето в итальянского певца, преподавателя, жившего тогда в Москве, легко, в два месяца, выучила итальянский, восхитив сладкоголосого учителя легкостью речи и несевой пылкостью повадок.

Польский она выучила уже в ссылке, по стечению обстоятельств. Вера Александровна, навещая ее, оставила случайно Агату Кристи по-польски, и Гуля, еще не вкусившая сладости этого жанра, вцепилась в него и долгие годы ничего, кроме Агаточки, как она ее нежно называла, в руки не брала.

Гуля устроилась референтом-переводчиком в некую техническую контору, проработала немногим больше года и ввязалась в глупейший конфликт, который рос и креп до тех пор, пока начальник не написал на нее донос, обвинив ее крайне непоследовательно в аполитичности, космополитизме и шпионаже. Обвинение и по тем временам было столь нелепым, что через полтора года, еще до смерти Сталина, Гуля вышла.

В перерывах между своими дробными посадками Гуля ухитрялась жить как птичка, немедленно заново выходя замуж, праздновала свой неистовый праздник любви, хохотала, бегала по гостям, «стрекозила», как говорила про нее осторожная и насмерть перепуганная жизнью Веруша. Однако Гуля цветов своей легкомысленной одежды не меняла.

Шурик родился, когда Гуля, после первой своей лагерной пробы, жила у Веруши в Калуге, и он оказался первым и единственным ребенком, к которому Гуля была причастна от самого его младенчества. Она как-то сумела преодолеть свое отвращение к этому влажно-сопливому периоду существования, вызывавшему у нее брезгливость. Во всяком случае, для Шурика было сделано исключение

Даже съехав от Веруши к Павлу Аркадьевичу – теперь уже трудно установить, которому по очередности ее мужу, – она навещала Веру и Шурика все те годы, что прожила с ним, вплоть до его смерти, в неугасающем веселье души и тела и, вопреки своему внутреннему устройству, едва его и впрямь не полюбив.

В эти ранние годы Шуриковой жизни Гуля появлялась шелковая, праздничная, в облаке духов и жидкой пены тщедушных локонов, с нарисованными бровями и настоящими, драгоценно-зелеными глазами. Нежный мальчик обнимал скользящие

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru колени и замирал с расширенным сердцем. А Гуля шевелила его обреченные на недолгую жизнь тонкие волосы пальцами с красными, немного внутрь загнутыми ногтями.

Потом Гуля исчезла, и Шурик по ней тосковал. Однако, когда она вернулась окончательно, на большие праздники сердце Шурика уже не было способно и Гуля уже была не такая шелковая. К тому же это был год его шестнадцатилетия, а в тот год шелк, мед, мех, лед и прочие совершенства мира заключались для него совсем в ином сосуде.

Гуля же в спешном порядке вышла замуж за старого красивого человека, носившего известную фамилию. Правда, к сожалению, он был не тем самым, а всего лишь однофамильцем, но кто бы посмел задать этот вопрос?

Гуля жила изо всех сил, не пропуская вернисажей, выставок, премьер, бенефисов, гастролеров. Как-то незаметно умер последний муж, и Гуля объявила подругам, что отныне она монахиня, но сильно в миру...

Сан Саныч, потерявший в эту пору значительную часть волос, сильно прибавивший в весе и приобретший неотталкивающее сходство с картофелиной, служил тогда совсем другому кумиру, но никогда не отлынивал от бесцеремонных – впрочем, сам он так никогда их не определял – требований Гули передвинуть мебель, отвезти ее на дачу или проводить на вокзал. Но все-таки Сан Саныч страдал, понимая, что Гуля стара, что он ничтожно мало ей помогает, и заклейка окон радовала его как возможность быть чем-то полезным милой Гуле.

Трехстворчатое окно было избыточной, барской высоты: с подоконника он доставал рукой едва выше половины рамы, а щели оказались бездонными, они проглотили три пачки ваты, целую кучу тряпья, порванного на полоски, и конца этой работе не было видно.

Гуля в упоении уже третий час рассказывала о своей нежной дружбе с неким Максом, но Сан Санычу и невдомек было, что речь шла о Волошине. Увидев, что Сан Саныч закончил с внутренними рамами, Гуля, подмигнув, вытащила графинчик коньяку и никудышную закуску.

– Вчера гости все подъели, а сегодня из дому не вылезала, – объяснила скудость стола Гуля. – Сейчас мы с тобой немножечко хряпнем, друг сердечный! – ворковала Гуля, смолodu любившая веселое винное ускорение крови, и вытаскивала большие, зеленого стекла бокалы. – Глупость, конечно, коньяк из таких бокалов, да еще и зеленых, но эта мелкота, они все грязные, – и махнула рукой в сторону помоечного, как его называла, столика возле двери, где стояла вчерашняя немытая посуда, – Знаешь, я подумала: к черту рабство! Если я не хочу ее мыть, то могу, в конце концов, и не мыть, не правда ли, друг мой?

– Гуленька, конечно, правда, – улыбаясь, умиляясь ей, ответил Сан Саныч, склонив голову набок. Он смотрел на нее восхищенно, и она чувствовала это и приходила в кураж. – Ты просто молодец. В нашем поколении таких людей, как ты, уже нет.

– Что ты имеешь в виду? – переспросила Гуля, любившая всякого рода комплименты и ожидавшая услышать приятное. – Налей-ка, голубчик. Вот так. И хватит.

– За твоё здоровье! Гуля, ты поразительная женщина! Ты – прекраснейшая из женщин! Я тебе ничего нового не скажу, но ты – эвиг вайблих! Елена, Маргарита и Беатриче в одном лице! – восторженно, искренне и вдохновенно понес Сан Саныч, подымая мутный зеленый бокал.

Гуля захохотала, положив на лоб худую, съехавшую внутрь, как это бывает у пианистов, кисть.

– Я так давно не слышала этих благородных имен, что в первый миг изумилась, с чего это ты мою милую Беатриче, Беатрису Абрамовну, в такую возвышенную компанию записал! Ох, я забыла ей позвонить! – сквозь смех вспомнила она.

– Да ну тебя, Гуля! Не даешь собой восхищаться!

– Я? Да сколько угодно! Что может быть приятнее даме, чем восхищение... Разве что... – И она снова залилась смехом.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Ах, Гуля, Гуля, ну как тебя не любить! Это же просто невозможно! – простуженно трубил Сан Саныч.

Она сидела в широком кресле, ручка которого была подвязана старым поясом от халата. Голубые, свежескрашенные волосы дымились вокруг ее маленького черепа; как всегда круто была подрисована бровь, а под ней – драгоценный, смеющийся, умный глаз. Сан Саныч налил по второй.

– Да, Гуля, дорогая, я хочу выпить за чудо женственности, за чудо твоей женственности! – торжественно провозгласил Сан Саныч и, склонившись, поцеловал ей руку.

Что-то хрустнуло в памяти. Близко-любимо-знакомое, что проступало в чертах капитана Утенкова, – это же Шурик был, Шурик!

А Сан Саныч, дурак, все витийствовал. Размякнув от коньяка, лепетал о шелковых коленях, которые он так любил в детстве, о нежных перчатках, прикосновение которых так волновало, и даже о подозрительной трубе, которую она когда-то ему подарила...

Пальцами, обряженными в большие некрасивые кольца, Гуля расстегнула три верхние пуговицы своей лиловой блузки, глубоко вздохнула и тихо, отдельно произнесла:

– Шурик, мне плохо...

– Боже мой! Гуленька, что с тобой?! Может, врача вызвать?! – осекся Сан Саныч, искренне встревоженный ее нездоровьем.

– Нет, нет, что ты, ни в коем случае! Это бывает. Сосудистое. Перемена погоды. Помоги мне перейти на кровать. Вот так. Спасибо, мальчик! – И, следуя хитрому вдохновению, Гуля повлекла ничего не подозревающего, невинного, восторженного, совершенно уже обреченного Сан Саныча к причаленной своей ладье.

– Подушку повыше, пожалуйста, и корсет расстегни, милый! – томным голосом приказала Гуля. Сан Саныч повиновался.

Две тонкокожие осенние дыни медленно выкатились на руки Сан Саныча.

– Может, тебе какое-нибудь лекарство? Я сейчас... – пролепетал Сан Саныч в некотором смятении.

– Ах, какое уж тут лекарство, – великолепно и снисходительно произнесла Гуля – и Сан Саныч наконец понял, что он приперт...

Ладья поплыла, и в этот же миг Сан Саныч почувствовал, что все его дурацкие комплиментарные, извилистые и дохлые слова, которые он лепетал полчаса назад, – святая, истинная правда

Джульетка протопала своими костяными коготками от бархатной подушки к креслу, вспрыгнула на него и уселась, не сводя черных глазок с тонких белых ног хозяйки.

Без четверти шесть щелкнул замок Гулиной комнаты – она провожала Сан Саныча к дверям. Они были одного роста – длинноногая Гуля и приземистый Сан Саныч в толстом зимнем пальто. Она задела вешалку, уронила половую щетку, стоявшую у соседской двери, и, поцеловав его в лоб, сказала неожиданно громко и низко:

– Спасибо тебе, Шурик!

– За что? – тихо спросил Шурик.

– За все! – подвела трагическую черту сияющая Гуля.

...Три дня не убирала Гуля с овального стола двух зеленых бокалов. Заходили приятельницы. Она сажала их в кресло и, указывая на бокалы, томно говорила:

– Должна тебе сказать, что в нашем возрасте любовные игры – слишком утомительное занятие. – Она делала паузу и продолжала небрежно:

– Любовник был. Молодой. Так устала, что нет сил вымыть пару рюмок.

И она приподнимала средним пальцем веко, которое в последние годы немного западало, и внимательно следила за выражением лица приятельницы – чтобы не упустить и этой последней крупицы нежданно случившегося праздника.

#### ДЕВОЧКИ

Дар нерукотворный

Во вторник, после второго урока, пять избранных девочек покинули третий класс "Б". Они уже с утра были как именинницы и одеты особо: не в коричневых форменных платьях с черными фартуками и даже не в белых фартуках, а в пионерских формах «темный низ, белый верх», но пока еще без красных галстуков. Шелковые, хрустяще-стеклянные, они лежали в портфелях, еще не тронутые человеческой рукой.

Девочки были лучшие из лучших, отличницы, примерного поведения, достигшие полноты необходимых, но не достаточных девяти лет. Были в классе "Б" и другие девятилетние, которые и мечтать не могли об этом по причине своих несовершенств.

Итак, пять девочек из "Б", пять из "А" и пять из "В" надели после второго урока пальто и галоши и выстроились перед школьным крыльцом в колонну попарно. Сначала одной девочке не хватило пары, но потом Лилю Жижморскую затошнило на нервной почве и она пошла в уборную, где ее вырвало, а затем напала на нее такая головная боль, что пришлось отвести ее в кабинет врача и уложить на холодную кушетку, – чем восстановилась парность колонны.

Старшая пионервожатая Нина Хохлова, очень красивая, но косая девушка, председатель совета дружины взрослая семиклассница Львова, девочка-барабанщица Костикова и девочка Баренбойм, которая уже год ходила в Дом пионеров в кружок юного горниста, но еще не научилась выдувать связных мелодий, а пока умела только издавать отдельно взятые звуки, – встали во главе колонны.

Арьергард состоял из Клавдии Ивановны Драчевой, которая в данном случае представляла собой не ту часть себя, которая была завучем, а ту, которая была парторгом, одной родительницы из родительского комитета с двумя разлегшимися на плечах развратными черно-бурыми лисицами и старичка-общественника, знающего, вероятно, тайну хождения по водам, поскольку его сапоги среди водоворотов непролазной грязи сверкали идеальным черным лоском.

Старшая вожатая дала сигнал, тряхнув помпоном на шапочке и двумя мощными кистями на свернутом дружинном знамени, барабанщик Костикова протрещала «старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал», Баренбойм надулась и издала кривой трубный звук, и все двинулись по мелко-извилистому, но в целом прямому маршруту через Миусы, Маяковку, по улице Горького к музею. Такие же колонны двинулись от многих школ, как мужских, так и женских, потому что мероприятие это имело масштаб городской, республиканский и даже всесоюзный.

Колченогие мускулистые львы, похожие на волков, с незапамятных времен привыкшие к отборной публике, меланхолично наблюдали с высоких порталов за шеренгами лучших из лучших и притом таких молодых

– Сколько мальчишек, – неодобрительно сказала Алена Пшеничникова своей подруге Маше Челышевой.

– Это не хулиганы, – проникательно заметила Маша.

Действительно, мальчики в теплых пальто и завязанных под подбородками треухах были мало похожи на хулиганов.

– А девочек все-таки больше, – настаивала на чем-то сокровенном и не до конца выношенном Алена.

Тут их ввели внутрь музея, и у всех дух свело от имперско-революционного великолепия полированного мрамора, начищенной бронзы и бархатных, шелковых и атласистых знамен всех оттенков адского пламени.

Их подвели к гардеробу, и они строем стали раздеваться. Галоши, кушаки, рукавицы – всего было слишком много. Всем было неловко, и каждому как будто не хватало по

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru одной руке. По той, которая была занята сверточком с пионерским галстуком, положить который было некуда. У одной только толстухи Соньки Преображенской обнаружился карман на белой кофточке, и она положила в него драгоценный сверточек.

Пионервожатая Нина, покрытая пятнистым румянцем, держа в вытянутых руках тяжелое древко дружинного знамени, повела их по широкой лестнице наверх. Ковер, примятый медными прутьями на каждой ступени, был зыбким и пружинистым, как мох на сухом болоте.

Позади всех шла родительница, снявшая из-под пышных лисиц незначительное пальто и утопая подбородком в толстом меху, а рядом с ней в чудесном образе не запятнанных сапогах старичок-общественник, сверкая металлической лысиной не хуже, чем голенищами.

– Алена, – в шею Алене зашептала стоявшая позади нее Светлана Багатурия, – Алена! Я все забыла, мамой клянусь.

– Что? – удивилась хладнокровная Алена.

– Торжественное обещание, – прошептала Светлана. – Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей... а дальше забыла...

– ...торжественно обещаю горячо любить свою Родину, – высокомерно продолжила Алена.

– Ой, вспомнила, слава богу, вспомнила, Аленочка, – обрадовалась Светлана, – мне только показалось, что я забыла!

Народ все прибывал, но никто не путался и не размешивался, все стояли по классам, по школам, ровненько, а весь длинный зал сплошь был заставлен витринами с подарками товарищу Сталину. Они были из золота, серебра, мрамора, хрусталя, перламутра, нефрита, кожи и кости. Все самое легкое и самое тяжелое, самое нежное и самое твердое пошло на эти подарки.

Индус написал приветствие на рисовом зернышке, и в другой раз, не сейчас, можно было бы посмотреть под лупой на эти волнистые буквы, похожие на мушиный помет. Китаец вырезал сто девять шаров один в другом, и опять-таки нужна была лупа, чтобы в просветах этих мелких узоров разглядеть самый маленький, внутренний шарик меньше горошины.

Узбечка ткала ковер из своих собственных волос всю жизнь, и с одной стороны он был угольно-черный, а с другой – голубовато-белый. Серединка его была соткана из седеющих, пестровато-серых печальных волос

– Наверное, она теперь лысая, – прошептала Преображенская.

– Это не имеет значения, узбечки все равно ходят в парандже, – пожала плечом жестокая Алена.

– Это до революции они так ходили, отсталые, – вмешалась Маша Чельшева.

– Отсталая не станет в подарок товарищу Сталину ковер ткать, – защитила почтенную старушку Преображенская.

– А может, она не все волосы в коврик заделала, может, немножко оставила? – с надеждой сказала добрая Багатурия, пощупав свои толстые длинные косы, подвязанные ленточками над ушами.

– А-а, посмотрите! – вдруг ахнула Маша. – Видели?

Но смотреть было особенно не на что: на витрине лежала квадратная тряпочка, на которой был вышит портрет товарища Сталина. Не особенно красиво, крестиком, не очень даже и похоже, хотя, конечно, догадаться можно без труда.

– Ну, видели, – отозвалась Преображенская, – ничего особенного.



Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru)  
– Чего, чего? – забеспокоилась Алена.

– Читай, что написано! – Маша ткнула пальцем в этикетку в витрине. – «Портрет товарища Сталина вышла ногами безрукая девочка Т. Колыванова».

– Танька Колыванова! – в восхищении прошептала Сонька, едва не теряя сознание от восторга.

– Да вы что, с ума сошли? Какая же Колыванова безрукая? У нее две руки. Да она и руками-то так не вышьет, не то что ногами! – отрезвила их Алена.

– Но здесь же написано Тэ Колыванова! – с надеждой на чудо все не сдавалась Сонька. – Может, у нее сестра есть безрукая?

– Нет, Лидка, ее сестра, в седьмом классе учится, есть у нее руки, – с сожалением сказала Алена. Она зажмурилась, покачала головкой в многодельных плетениях кос и добавила:

– Все же спросить надо.

И тут все двинулось и стройными рядами пошло в другой зал. С одной стороны стояли барабанщики, с другой горнисты, в середине стояли знаменосцы с распущенными знаменами, и какая-то, наверное самая старшая, пионервожатая громко скомандовала:

– На знамя равняйся! Смирно! Слово предоставляется матери Зои и Шуры Космодемьянских.

Все подровнялись и выпрямились, и тогда вышла вперед невысокая пожилая женщина в синем костюме и рассказала, как Зоя Космодемьянская сначала была пионеркой, а потом подошла фашистскую конюшню и погибла от рук фашистских захватчиков.

Алена Пшеничникова плакала, хотя она про это давным-давно знала. Всем в эту минуту тоже хотелось поджечь фашистскую конюшню и, может быть, даже погибнуть за Родину.

Потом выступил старичок-общественник и рассказал про первый слет пионеров на стадионе «Динамо», про Маяковского, который читал «Возьмем винтовки новые, на штык флажки», а все пионеры – участники слета весь тот день ездили потом бесплатно на трамвае, а билеты стоили четыре, восемь и одиннадцать копеек.

А потом все хором прочли торжественное обещание юного пионера и всем повязали галстуки, кроме Сони Преображенской, которая хотя и положила свой галстук в карманчик, но как-то ухитрилась его потерять, и она заплакала. И тогда старшая пионервожатая Нина временно сняла свой галстук и повязала его на шею горько плачущей Соньки, и она утешилась.

Запели «Взвейтесь кострами, синие ночи!» и вышли из зала стройными колоннами, но уже совсем другими людьми, гордыми и готовыми на подвиг.

На следующее утро все пионерки пришли в школу немного пораньше. Третий класс "Б" просто-таки осветился этими четырьмя красными галстуками. Сонька перевязывала его на каждой переменке. Вредная Гайка Оганесян посадила чернильную кляксу на красный уголок, торчащий из-под воротничка впереди сидящей Алены Пшеничниковой, и Алена рыдала всю большую перемену, но перед самым концом перемены к ней подошла Маша Чельшева и сказала ей на ухо:

– А давай спросим у Колывановой, ну, про ту, безрукую?

Алена оживилась, и они подошли к Таньке Колывановой, которая сидела на последней парте и рвала на мелкие кусочки розовую промокашку, и спросили без всякой надежды, просто на всякий случай, не знает ли она безрукую девочку Тэ Колыванову.

Колыванова очень смутилась и сказала:

– Какая же она девочка, она большая...

– Твоя сестра?! – взвопили в один голос свежепринятые пионерки.

– Не сестра, так, родня нам, тетя Тома, – потупившись, ответила Колыванова, но видно было, что она мало гордится своей знаменитой теткой.

– Она ногами вышивает? – строго спросила Колыванову Алена.

– Да она все ногами делает, и ест, и пьет, и дерется, – честно сказала Колыванова, но тут прозвенел звонок, и они не договорили.

Весь четвертый урок Алена с Машей сидели как на иголках, посылали записки друг другу и другим членам пионерской организации, а когда урок кончился, они окружили Колыванову и стали ее допрашивать. Колыванова сразу призналась, что тетя Тома и впрямь вышивает ногами и действительно она вышила подарок товарищу Сталину, но это было давно. И что она никакой не герой войны, и руки ей не фашистские пули отстрелили, а что она так родилась, совсем без рук, и живет она в Марьиной роше, и ехать туда надо трамваем.

– Ну хорошо, иди, – отпустила Алена Колыванову. Колыванова с радостью тут же улизнула, а пионерская организация в полном составе осталась на свое первое собрание.

Главный вопрос был ясен и сам собой как-то решен: выборы председателя совета отряда. Соня с наслаждением написала на тетрадном листе: «Протокол». Проголосовали. «Все – за», – написала Соня, а ниже приписала: «Алена Пшеничникова».

И Алена, молниеносно облеченная полнотой власти, тут же взяла быка за рога:

– Я думаю, мы должны пригласить на сбор отряда безрукую девочку, ну, эту тетеньку, Тамару Колыванову, пусть она нам расскажет, как она вышивала подарок товарищу Сталину.

– А мне больше понравился... там стоял столик золотенький, вокруг стульчики, а на столике самовар и чашечки, а самовар с краником, и все маленькое-маленькое, малюсенькое... – мечтательно сказала Светлана Багатурия.

– Ты не понимаешь, – печально сказала Алена, – столик, самоварчик – это каждый может сделать. А ты вот ногами, ногами...

Светлане стало стыдно. Действительно, она обольстилась самоварчиком, когда рядом живут герои. Она свела свои раскидистые брови и покраснела. Вообще-то, в классе ее уважали: она была отличница, она была приблизительно грузинка, жила в общежитии Высшей партийной школы, где учился ее отец, а Светланой ее называли не просто так, а в честь дочки товарища Сталина.

– Значит, – подвела итог Алена, – дадим Колывановой пионерское поручение, пусть приведет свою тетю Тамару к нам на сбор.

Соня пошарила пухлой ручкой в портфеле и вытянула оттуда яблоко. Откусила и отдала Маше. Маша тоже откусила. Яблоко было невкусное. Смутное недовольство было на душе у Маши. Хотя красный галстук так ярко и свежо свешивал свои длинные уголки на грудь, чего-то не хватало. Чего?

– Может, моего дедушку позвать на сбор? – скромно предложила она. Дедушка ее был настоящий адмирал, и все это знали.

– Отлично, Маша! – обрадовалась Алена. – А ты пиши, Сонь: адмирала Чельшева тоже пригласить на сбор отряда.

Словечко это «тоже» показалось Маше обидным. Тут открылась дверь, пришли дежурные с тряпкой и щеткой, и заседание решили считать закрытым.

Кроткая Колыванова уперлась, как коза. Нет и нет – и даже толком не могла объяснить, почему же она не хочет привести свою безрукую тетю на сбор отряда. И упорствовала она до тех пор, пока Сонька не сказала ей:

Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya@ludmila.ru](http://litskaya@ludmila.ru)  
– Тань, а ты Лидке своей скажи, пусть она попросит тетю.

Танька страшно удивилась: откуда Сонька Преображенская могла знать, что Лидка вечно таскается к тетке? Но поговорить с Лидкой согласилась.

Лидка долго не могла взять в толк, чего это понадобилось третьюеклашкам от калеки-тетки, а когда сообразила, захохотала:

– Ой, умру!

В следующее воскресенье она взяла с собой пятилетнего братишку Кольку и поехала к тетке в Марьину рощу.

Все колывановское семейство жило кое-как, по баракам и общежитиям, одна только Томка жила как человек, имела комнату в кирпичном доме с водопроводом.

Когда к ней пришла Лидка-племянница, она обрадовалась: Лидка попусту к ней не ходила. Как придет, то и постирает, и еду сварит. Хотя ходила она и не совсем за так: Томка ей всегда подбрасывала то трешничек, то пятерочку. Деньги у нее водились, особенно летом.

Разница в годах у тетки и племянницы была не так велика, не более десяти лет, и отношения были у них скорее приятельские.

– Томка, тебя пионерки хотят на сбор позвать, из Танькиного класса, – сообщила ей Лида

– На что это мне? Еще ходить куда-то. Надо им, сами придут. Да и на что им нужно-то? – удивилась Томка.

– Да хотят, чтобы ты им рассказала, как ты подушечку-то вышивала... – объяснила Лида.

– Ишь хитрые какие, расскажи да покажи... Пусть приходят, я им и не такое покажу.  
– Она сидела на тюфяке, почесывая коленом нос. – Только не за так. Бутылочку красного принесут – и покажу, и расскажу.

– Да ты что, Том, откуда у них? – Лидка уже раздела Кольку и копошилась в углу, разбирая грязные тряпки.

– Тогда пусть хоть десяточку принесут. Нет, пятнадцать рублей! Нам, Лид, пригодится! – и она засмеялась, показывая мелкие белые зубы.

Личико у нее было миловидное, курносенькое, только подбородок длинноват, а волосы густые, тяжелые, в крупную волну, как будто от другой женщины.

– Ох и дуры, чего не видели, – крутила она головой, но была в ней гордость, что целая делегация направляется к ней посмотреть, как она ногами управляется. Была у нее такая слабость – хвастлива. Любила людей удивлять. Летом сидела она на своем подоконнике на первом этаже, лицом на улицу, и, зажав иголку между большим пальцем и вторым, вышивала. А народ, проходивший мимо, дивился. А кто подбрее, тот клал на белое блюдечко и денежку.

Томка кивала и говорила:

– Спасибочки, тетенька. – Обычно давали тетеньки.

– А ты, Лидух, сама-то придешь? Ты приходи за компанию, – пригласила она родственницу.

– Приду, – пообещала Лидка.

Решили идти к Колывановой Тамаре на дом. Девять рублей было у Маши, остальные скопили за два дня на завтраках. Почти целую неделю пионерки ходили надутые тайным разговором, как воздушные шарик легким паром. Почему-то они были совершенно уверены, что не состоящая во Всесоюзной пионерской организации имени Ленина молодежь ничего не должна знать об их серьезной и таинственной жизни.

Гайка Оганесян от любопытства едва не заболела, а Лиля Жижморская была мрачнее тучи, потому что была уверена, что затевается что-то лично против нее.

Тане Колывановой было строго-настрого сказано, что, если она проболтается, ее будут судить. Насчет суда придумала, между прочим, не строгая Алена, а болтушка Сонька Преображенская. Маша, в значительной степени финансировавшая все мероприятие и укрепившая тем самым свои было пошатнувшиеся позиции, приободрилась.

Поход, назначенный на среду, через неделю после торжественного приема, едва не сорвался. Во вторник в класс пришла старшая пионервожатая и сказала, чтобы они не беспокоились: им назначили очень хорошую классную вожатую из шестого "А", Лизу Цыпкину, но она болеет и придет к ним сразу, как только выздоровеет, может, завтра, и сразу поможет наладить им пионерскую работу.

– Так что вы не раскисайте пока, – посоветовала она.

– Мы и не раскисаем, мы уже председателя выбрали, – бодро сообщила Светлана Багатурия.

– Ну и молодцы, – похвалила их Нина Хохлова, сделала пометку в книжечке и ушла.

Девочки переглянулись и без слов поняли друг друга: никакая вожатая Цыпкина им не нужна.

Утром следующего дня они предупредили дома, что вовремя из школы не придут по причине пионерского мероприятия. Все переменки они прятались в уборной на случай, если вдруг Лиза Цыпкина выздоровела и захочет с сегодняшнего дня ими руководить.

После занятия в полном пионерском составе, да еще прихватив с собой беспартийную Колыванову, они скрылись позади школы за угольным сараем в ожидании Лиды, у которой было пять уроков.

Дождавшись Лиду, они пошли кучей на трамвайную остановку. Маша Чельшева зорко поглядывала по сторонам: казалось, что за ними кто-то следит.

За последнюю неделю сильно похолодало, выпал жидкий снежок. Но замерзнуть они не успели, нужный трамвай пришел очень скоро. Народу в нем было немного, так что можно было даже посидеть на желтых деревянных лавочках.

Сестры Колывановы не ощущали ни прелести, ни волнения от этой поездки. Светлана Багатурия, хоть и из другого города, тоже обладала свободой передвижения и даже сама ездила в Пассаж за мелкими покупками. А вот Алена, Маша и Соня впервые ехали в трамвае одни, без взрослых, сами купили себе билеты и расстегнули воротники шуб, чтобы все могли видеть их красные галстуки, знак несомненной самостоятельности.

Марьино роща оказалась далеким, совершенно безлесным местом, заросшим, если не считать почернелого бурьяна, исключительно сараями, голубятнями и бараками и густо опутанным толстыми веревками с фанерно качающимся бельем.

Уверенность вдруг покинула Алену. Никогда еще не видела она таких безвидных мест, и ей захотелось домой, в нарядный дом в Оружейном переулке, так близко от того дворца, где львы с подмороженными гривами и тощими задами сидят на воротах...

– Выходить, – сказала Лида, и притихшие девочки сгрудились у выхода. Трамвай с долгим звоном остановился, и, делать нечего, все попрыгали с высокой подножки.

Рядом с трамвайной остановкой стояли два двухэтажных кирпичных дома, остальное жилье было деревянным, рассыпающимся, в глубине были видны несколько настоящих деревенских изб с колодцем в придачу. Народу видно не было, только одна согнутая бабка в валенках и большом платке перебежала из дома в дом. Вдруг закричал петух, и тут же откликнулся другой.

– А нам сюда, – с некоторой гордостью Лидка указала на кирпичный дом.

Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
Она открыла парадную дверь, и все вошли в темный коридор. Лампочка горела только на втором этаже, и почти ничего не было видно.

– Туда, туда, – указала Лидка, и все приостановились у второй двери, за которой следовал еще один коридор с поворотом.

– Вот, – сказала Лида, стукнула кулаком в дверь и отворила, не дожидаясь ответа.

Комната была небольшая, длинная, темноватая. Возле окна стоял топчан, на нем лежала как будто большая девочка, покрытая до пояса толстым одеялом. Она села, спустила на пол большие ноги. Платье у нее было как бы с крылышками на плечах, но рук под этими пустыми крылышками не наблюдалось. Когда же она пошла по комнате, оказалось, что она маленькая, тощенькая и напоминает утенка, потому что походка у нее немного валкая, ноги вставлены чуть по бокам, ступни необыкновенно широкие, а пальцы на ногах большие, толстые и широко расставлены.

– Ай! – сказала Светлана Багатурия.

– Ой! – сказала Соня Преображенская. Остальные молчали. А безрукая женщина сказала:

– Ну, заходите, коли пришли. Чего в дверях топчетесь?

Алена же, вместо того чтобы сказать длинную приготовленную фразу об открытии сбора, сказала скромненько:

– Здравствуйте, тетя Тома.

И в этот момент ей почему-то стало так стыдно, как потом никогда в жизни.

– Иди, Лидка, чайку поставь, – приказала Тома старшей племяннице и с гордостью заметила:

– Кран у нас прям на кухне, на колонку не ходим.

– У нас тоже раньше колонка была, – со своим чудесным грузинским акцентом сказала Светлана.

– А ты откуда, черная? Армян, цыган? – добродушно спросила безрукая.

– Грузинка она, – со значением ответила Алена.

– Дело другое, – одобрила Тома. – Ну, чего, – рьяно и весело продолжила она, как будто не желая по этой красивой грузинской ниточке подойти к тому важному и интересному, ради чего они пришли, – к подарку. – А гостинец мне принесли? Давайте сюда, – и она прижала свой длинноватый подбородок к груди, и тут все заметили, что у нее на груди висит мешочек, сшитый из того же зеленого ситца, что и платье.

Испытывая жгучее чувство не правильности жизни, Алена расстегнула замок портфеля, вытащила кучу мятых рублевков и сунула их в шейный мешочек, покраснев так, что даже пот на носу выступил.

– Вот, – бормотнула она. – Пожалуйста, спасибо.

– А вы смотрите, смотрите, раз пришли, – мотнула Томка подбородком в сторону стены. На стене висели вышивки и картинки. На картинках были нарисованы кошки, собаки и петухи.

– А картинки тоже вы? – изумленно спросила Маша.

Тома кивнула.

– Ногами? – глупо поинтересовалась Багатурия.

– А как захочу, – засмеялась Томка, показывая сквозь мелкие зубы длинный, острый на кончике язык. – Захочу – ногами, захочу – ртом.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru)  
Она нагнула голову низко к столу, резко мотнула подбородком и подняла лицо от стола. В середине ее улыбающегося рта торчала кисточка. Она быстро переكاتила ее во рту из угла в угол, потом села на кровать, подняла, странно вывернув коленный сустав, стопу, и кисточка оказалась зажатой между пальцев ног.

– Могу правой, могу левой, мне все равно. – И она ловко переложила кисточку из одной ноги в другую, высунула язык и совершила им какое-то замысловатое гимнастическое движение.

Девочки переглянулись.

– А вот портрет товарища Сталина вы тоже нарисовать ногой можете? – все пыталась Алена свернуть в нужном направлении.

– Могу, конечно. Но мне больше нравится кошек да петухов рисовать, – увильнула Томка.

– О, кошечка вон та серая прелесть какая, точно как наша, – восхищенно указала Светлана Багатурия на портрет кошки в не правильно-горизонтальную полосу. – Наша Маркиза у бабушки в Сухуми осталась. Я так скучаю без нее!

– А мне петухи... вон тот, пестрый, – сказала младшая Колыванова, от которой никто не ожидал.

– Ишь ты, а раньше не говорила, Танька, – удивилась художница.

– А вы расскажите про подарок, – гребла целеустремленно в свою сторону Алена Пшеничникова.

– Дался тебе этот подарок, – почти рассердилась вдруг Томка.

Но тут вошла Лидка и объявила:

– Том, керосин-то выгорел, нету керосина.

– А и нету, и не надо, – махнула кисточкой, зажатой в пальцах ног, Томка. – Поди-ка сюда. Поближе.

И Томка зашептала что-то секретное Лидке в ухо. Лидка кивнула, сняла с Томкиной шеи мешочек и пошла к двери одеваться.

Усевшись поудобнее, вроде как бы по-турецки, пошевеливая кисточкой, Томка стала рассказывать:

– Значит, так. Про подарок... – Она засмеялась рассыпчатым ехидным смехом. – Труд мой был не напрасный. Вышивала я долго, месяца два, а может, четыре. Василиска-соседка по почте отправила, а я ей наказала, чтоб с возвратным ответом. – И она снова засмеялась, а потом посерьезнела. – Но, честно сказать, не очень-то я рассчитывала, что ответ получу... Но пришел. Бумага большая, печать сверху, печать снизу, благодарственная, из самой канцелярии. Так и написано: Москва, Кремль... Ну, думаю, дорогой товарищ Сталин, не подведи..

Девочки переглянулись. Алена тревожным взглядом смотрела на Машу.

– А жили мы в Нахаловских бараках. Одна стена – чистый лед, а протопят как следует – вода течет, и нас шестеро вот в такой камере. Мать наша – деревня деревней, сестра Маруся – пьянь, рвань, в жопе ветер, да выблядки ее сопливые... – Томка строго посмотрела на обмерших чистеньких девочек. – Ума ни у кого нет, об себе позаботиться не могут, не то что обо мне, безрученькой. А кому Бог ума не дал, то плохо, я скажу. Ну, я эту бумагу в зубы и иду в жилотдел...

Светлана Багатурия подперла кулачком подбородок и даже рот открыла от проникновения. Сонька хлопала глазами, а Маша Чельшева тяжело, со стеснением втягивала в себя дурной воздух и с еще большим стеснением выдыхала.

– Прихожу, а там в кабинет очередь, а я без ничего, дверь ногой открываю и захожу. Они меня увидели, попадали прям – Она тщеславно хихикнула. – А я на самый большой стол им, – с неприличным звуком она выплюнула изо рта воздух, –

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) бумагу выкладываю и говорю: вот, обратите внимание, великий товарищ Сталин, всем народам отец, знает меня поименно, пишет мне, убогой, свое благодарствие за мое ножное усердие, а моя жилплощадь такая, что горшок поставить поссать некуда. Где же ваше-то усердие, уж который раз мы все просим, просим... Теперь я к самому товарищу Сталину жаловаться пойду... Ну, поняли теперь, пионерия? Фатера-то моя, можно сказать, лично от самого товарища Сталина! – Она покрутила ртом и дернула носом:

– Ничего вы не понимаете, мокрописки. Надевайте ваши польты и дуйте отсюда, – неожиданно злобно сказала она. Потом слезла со своего тюфяка и запела тонким громким голосом, подстукивая голыми пятками и подергивая боками:

– Огур-чи-ки, по-ми-дор-чики...

Девочки попятились к двери, схватили свои шубки-пальтишки в охапку и высыпались в коридор. Из-за двери был слышен крик Томки:

– Танька! Танька! Ты-то куда?

Но Таня Колыванова солидарно натягивала свое пальто. Толкаясь, они пробежали по изогнутому коридору и высыпали, разом протиснувшись в парадную дверь, на улицу.

Было уже совсем темно. Пахло снегом и дымом, деревенские тихие звезды стояли в небесной черноте. Они побежали к трамвайной остановке и сбились в кучу возле жестяной таблички. Соньке и Светлане было ничего себе, Маша тяжело дышала, у нее начинался первый в ее жизни астматический приступ, которых будет потом много, а Алена роняла частые слезы с густых слипшихся ресниц.

Она была так несчастна, как только можно вообразить, но сама не понимала отчего.

«Противная, противная, обманщица, – думала она. – И товарища Сталина она не любит...»

– Дома влетит, – сказала бесчувственная Сонька, которой все было хоть бы что.

Две женщины в деревенских полушубках подошли к остановке и встали. Ждать пришлось на этот раз довольно долго. Наконец вдали раздался чудесный перезвон и из-за поворота появился ясноглазый трамвай. Когда они уже влезали в него, появилась Лидка. Томкино поручение она уже выполнила и неслась вслед за сестрой.

А Томка, с бутылкой в своей шейной котомке, не надевая чунек, поднялась во второй этаж и постучала голой пяткой в коричневую дверь. Ей не ответили. Тогда она развернулась, отступила на шаг, ловко просунула ступню в дверную ручку и, качнувшись, открыла дверь. Внутри было темно, но это было ей неважно.

– Егорыч! – позвала она с порога, но никто не ответил. Она двинулась в глубь комнаты. В углу лежал матрас, а на матрасе – Егорыч. Она встала на колени:

– Егорыч, ты потрогай, чего я принесла-то. Доставай, что ли... Ну, давай! – торопила она его.

И Егорыч, почти еще не проснувшись, поднял патлатую голову с большой сальной подушки, протянул корявую лапу к Томкиной котомочке и добродушным сонным голосом сказал:

– Тебе только давай. – Ну, чего притащила-то?

Он был ее дружок, и она принесла ему дар. Сама-то она выпить немножечко тоже могла, но по-настоящему пить она не любила. И товарища Сталина, как выяснила теперь заплаканная Алена Пшеничникова, она тоже по-настоящему не любила...

Чужие дети

факты были таковы: первой родилась Гаяне, не причинив матери страданий сверх обычного. Через пятнадцать минут явилась на свет Виктория, произведя два больших разрыва и множество мелких разрушений в священных вратах, входить в которые столь сладостно и легко, а выходить – тяжело и болезненно.

Столь бурное появление второго ребенка оказалось полной неожиданностью для

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) опытной акушерки Елизаветы Яковлевны, и пока она, пытаясь остановить кровотечение до прихода дежурного хирурга, за которым было послано в другое отделение, накладывала лигатуры, Виктория крепко кричала, поводя сжатыми кулачками, а Гаяне мирно спала, словно бы и не заметив своего выхода на хрупкий мостик, переброшенный из одной бездны в другую.

Невзирая на суматоху, поднявшуюся вокруг роженицы, Елизавета Яковлевна успела отметить про себя, что близнецы однояйцевые, и это не очень хорошо, – она держалась того мнения, что однояйцевые близнецы физически слабее разнояйцевых, – а также она обратила внимание на то забавное обстоятельство, что впервые в ее практике близнецы ухитрились родиться в разные дни: первая двадцать второго августа, а вторая, через пятнадцать минут, но уже после полуночи, двадцать третьего...

Пока мать девочек Маргарита, не унижившая себя общепринятыми родильными воплями, плавала в тяжеловодной реке, то выбрасываемая на черный и прочный берег полного беспамьяства, то снова увлекаемая в горячие сильные воды с вызывающей тошноту скоростью, девочки неделю за неделей содержались в детской палате и кормились от щедрот чужих сосцов.

К исходу первого месяца, когда мать девочек, перенеся большую операцию, лишившую ее возможности впредь проращивать драгоценные зерна потомства, и последующее заражение крови, вынырнула, вопреки прогнозам врачей, из промежуточного состояния и начала медленно поправляться, Эмма Ашотовна, бабушка, забрала девочек домой.

К этому времени ей удалось поменять хорошую работу в управлении на должность бухгалтера в жилищной конторе в соседнем доме, чтобы иметь возможность сбежать среди дня к детям и покормить их.

Дома, впервые распеленав два тугих поленца, выданных ей под расписку в роддоме, и увидев, как запущена их бедная кожа, она заплакала. Виктория, впрочем еще безымянная, тоже заплакала – зло, не по-младенчески, большими слезами. Эти первые общесемейные слезы все и решили: Эмма Ашотовна ужаснулась своей тайной неприязни к новорожденным внучкам, едва не унесшим жизнь ее драгоценной дочери, и пошла на кухню кипятить постное масло, чтобы после купания намазать опрелые складочки.

Уже через несколько дней внимательная Эмма Ашотовна установила, что Виктория – она звала ее про себя «егрорт», по-армянски «вторая», – яростно орет, если бутылочку с молоком подносят сначала ее сестре. Старшая сестра, которую бабушка называла «ара-чин» – «первая», голоса вообще не подавала.

Лежа валетом в кроватке-качалке, сработанной дворовым столяром дядей Васей, и получая из бабушкиных рук, отяжеленных крупными перстнями и набухшими суставами, теплые бутылочки, они с честным рвением исполняли свой долг перед жизнью: сосали, отрывгивали, переваривали, исторгали из себя с удовлетворенным кряхтением желтые творожистые останки трудно добываемого молока.

Они были очень похожи: темные густые волосики обозначали линию низкого и широкого лба, нежный пушок, покрывающий их лица, сгущался в тонкие длинные брови, а верхняя губа, как у матери и бабки, была вырезана лукообразно, и именно в этой крохотной, но явственно заметной выемке и сказывалось семейное и кровное начало. Хотя обе девочки были прехорошенькими, по мнению Эммы Ашотовны, старшая была потоньше и помилловидней.

Следуя известной системе народных суеверий, дополненных и своими собственными, в некотором роде авторскими, Эмма Ашотовна девочек не показывала никому, кроме старой Фени, соседки, много лет помогавшей ей по хозяйству. Однако, пока Феня с указанного ей расстояния рассматривала два сопящих чуда природы, Эмма Ашотовна, причудливо сцепив пальцы, мелко поплеывала на четыре стороны. Это отводило сглаз, к которому особенно чувствительны, как известно, младенцы до года и девственницы на выданье.

Была Эмма Ашотовна человеком оригинальным, со своей системой жизни, в которой равноправно присутствовали строгие нравственные правила, несколько не завершенное высшее образование, набор упомянутых суеверий, а также возведенные в принцип собственные прихоти и капризы, для окружающих, впрочем, вполне



Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) безвредные. Так, к последним относился, например, полный отказ от баранины, столь обычной для армянской кухни, несокрушимая вера в целебные свойства листьев айвы, страх перед желтыми цветами и тайное обыкновение перебирать про себя ряды чисел, как другие перебирают четки. Так, с помощью этой своеобразной игры, решала она обыкновенно свои житейские задачки.

Однако теперешняя ее задача была столь сложна, что со своими любимыми числами, послушно позвякивающими в ее крупной голове, под большими волосами, не могла она к ней подступиться.

Эти детки были долгожданными. Дочь ее Маргарита в очень юном возрасте, не достигнув и восемнадцати, вышла замуж по большой любви не то чтобы против воли родителей, профессора-отца и самой Эммы Ашотовны, представительницы древнего армянского рода, скорее – вопреки их ожиданиям... Избранник Маргариты был крестьянского происхождения, уже в зрелом мужском возрасте. Та армянская глина, из которой он был вылеплен, рано отвердела, и еще в детстве он утратил пластичность. Появление Маргариты в его жизни было тем последним событием, которое завершило окончательную форму его прочного характера.

К новым идеям он всегда был настроен сдержанно, к незнакомым людям – подозрительно, все сложное казалось ему враждебным, и его незаурядный талант инженера вырос, возможно, на свойственном ему от природы желании разрешать все сложности наиболее простым путем.

В жены себе он выбрал Маргариту, когда та гостила с матерью у родственников в горной деревушке, а он, исполняя семейный долг, приехал навестить своего престарелого дядю. Три дня он наблюдал за двенадцатилетней Маргаритой из дядькиного сада, сквозь просветы крупных листьев инжира, и спустя пять лет женился на ней. Она стала богом его жизни, тонкая, нежная Маргарита, с ног до головы покрытая персиковым пушком.

До женитьбы он был честолюбив, хорошо продвигался по службе, имел несколько авторских свидетельств об изобретениях, но брачное счастье было попервоначалу столь ярким, что затмило для него все кальки и синьки мира...

Так прошло несколько лет, и счастье несколько отуманилось: он жаждал детей, но дитя, невзирая на его усердные труды, не завязывалось. Утомительное и бесплодное ожидание сделало его, человека от природы сдержанного, угрюмым, а Маргарита, разделяя тоску мужа по потомству, чувствовала свою неопределенную вину. Миновало уже десять лет их браку, она все была юной и тонкой, похожей на диснеевского олененка, а он постарел, померк, и даже инженерные способности его, столь блестящие смолоду, как-то обмелели.

Незадолго до войны Серго получил назначение на Дальний Восток и выехал на новое место службы. Маргарита должна была следовать за ним через короткое, но неопределенное время. Она уже складывала в коробки накрахмаленное до картонной жесткости белье и заворачивала в мятую газетную бумагу фарфоровые чашечки, когда началась война. Отца Маргариты, Александра Арамовича, крупного востоковеда, знатока десятка мертвых и полумертвых языков, еще задолго предсказавшего эту войну с большой календарной точностью, в домашнем, разумеется, кругу, вечером того несчастного июньского воскресенья разбил паралич. Маргарита никуда не уехала: больше года, окруженный прощальной любовью жены и дочери, полностью лишенный речи, почти недвижимый и с совершенно ясным сознанием, пролежал он в своем узком кабинетике, вслушиваясь в тихий треск спасенного от конфискации куска эфира, начиненного немецкой и английской, тоже вполне для него внятной речью. В конце ноября сорок второго года он скончался.

Через неделю после похорон, когда Маргарита уже собиралась поговорить с Эммой Ашотовной о переезде их к Серго, он, без предварительного извещения, явился сам. За этот год он, как ни странно, помолодел, похудел, стал каким-то собранным и обновленным.

Как выяснилось, он долгое время добивался перевода в действующую армию – на театр военных действий, как старомодно выражался покойный Александр Арамович, – и теперь наконец ехал на фронт.

В печально изменившемся доме, еще полном следов болезни и смерти, он провел чудом доставшуюся ему прощальную ночь, и рано утром Маргарита поехала провожать

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) его в Мытищи, где стоял эшелон. Вернувшись, она легла ничком на кровать, обняла пахнущую резким мужским одеколоном подушку и пролежала так четыре с половиной дня, пока запах окончательно не улетучился.

Мать и дочь принадлежали к одной породе восточных жен, любящих своих мужей страстно, властно и самоотверженно. Они сплотились и жили едиными чувствами печали об ушедшем в тихие поля Александре Арамовиче и тревоги о Серго, ушедшем в смежное, грохочущее железом пространство.

За пять следующих месяцев Маргарита получила от мужа всего три письма, причем каждое с новым номером полевой почты.

К этому времени она знала, что некоторые женские неполадки, которые она сначала относила за счет истощения и малокровия, связаны с приездом ее мужа в тот день и час, когда звезды благоприятствовали зарождению ее дочери. Что будет дочь, Маргарита не сомневалась, что их будет две – не провидела.

Эмма Ашотовна, разделив с дочерью нечаянную радость, зажала ей рукой рот: молчи!

И Маргарита молчала. Лишь в одном из писем она туманно намекнула мужу на новые обстоятельства, но Серго той шифровки не разгадал. Эмме Ашотовне, столь сложно устроенной, однако простодушной, и в голову не приходило, какой глубокой катастрофой чревато суеверное умолчание.

Сообщение о рождении детей Эмма Ашотовна отправила зятю лишь несколько недель спустя после их рождения, когда стало ясно, что жизнь Маргариты вне опасности. В ответ была получена телеграмма странного содержания: «Примите поздравления новорожденными. Серго».

Едва оправившись, Маргарита написала мужу длинное счастливое письмо, ответ на которое очень сильно задерживался.

Выйдя из больницы, Маргарита начала осваивать роль матери, к которой оказалась не весьма талантлива. Эти две маленькие девочки, стараниями Эммы Ашотовны уже налившись плотью, едва не увлекли ее на тот свет и вызывали теперь чувство страха. Она боялась взять их на руки, уронить, причинить боль. Но подлинная природа страха открывалась лишь в снах, которые она видела почти еженощно. Сны эти были довольно разнообразны, начинались кое-как, с первого попавшегося места, но кончались непременно появлением двух враждебных существ, всегда небольших и симметричных. Они приходили то в виде двух собак, то в виде двух карикатурных фашистов с автоматами, то в виде ползучего растения, разделявшегося надвое.

Отгоняя смутную и сильную тревогу, она училась любить своих детей и напряженно ждала ответного письма от мужа.

А Серго, получив неожиданную телеграмму, погрузился в адский огонь. Тот реальный, физический огонь, следы которого он постоянно обнаруживал на ремонтируемых танках в виде кусков жженого мяса, припекшихся к металлу, словно переместился в его сердце и бушевал теперь в сердцевине костей.

Смолоду он боялся женщин, считал их существами низкими и порочными. Исключение он делал для покойной матери и для жены. Теперь разом рухнула его вера в Маргариту как в существо высшее и безукоризненное.

Все, все, все они... И плоское, лысое, розовое, как блевотина, русское слово произносил он с каким-то садистическим удовлетворением и неистребимым акцентом. «Би-ля-ди» – было это слово. Измена жены была для него несомненна, а мелочными расчетами женских сроков он не занимался.

Бог знает из какой глубины выплыл вдруг образ Маргаритиногo одноклассника, еврейского мальчика Миши, жестоко в нее влюбленного с первого класса и обивавшего ее порог еще в десятом, когда Маргарита уже была невестой Серго. Этому женоподобному тонкорукому скрипачу Серго не придавал тогда никакого значения, хотя и молчаливо раздражался при виде бесконечных маленьких пучков бедных растений, которые Миша постоянно притаскивал Маргарите. Сам Серго дарил своей невесте соответствующие ее достоинству розы.

Теперь этот недомерок вдруг возник в навязчивом образе – обнимающим Маргариту.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
Нельзя сказать, чтобы он эту картину увидел во сне. Он сам выстроил ее в своем воображении с немислимой достоверностью, и память угодливо подбросила ему реальные подробности в виде коричневой вельветовой курточки с огромной застежкой-молнией на груди и густой россыпи розовых прыщей, сконцентрировавшейся на переносице белого и чистого лица юноши, которого и видел-то он всего один или два раза.

Серго постоянно вызывал это видение, развивая его в разных интересных направлениях и разжигая в себе огонь ревности такой мощности, что вся грохочущая вокруг война, превратившаяся уже в обыденность, тонула в этом огне, как сухая травинка.

Тогда он и отправил домой три дня обдумываемую телеграмму. На письмо, уместившееся на трех четвертях листочка из школьной тетради, исписанного довольно крупным почерком, ушло у него две недели.

В этом долгожданном письме Маргарита прочла, что он рад, что у нее родились дети, но он не хочет быть рогоносцем. Если у нее есть человек, пусть она разводится и выходит за него замуж, а если этот подлец не хочет жениться на матери своих детей, то пусть тогда все останется как есть. Война длинная, он может быть убит, и пусть тогда ее девочки носят честное имя Оганесьяна и хоть пенсию на него получают. Все лучше, чем безотцовщина.

Получив письмо, Маргарита снова легла ничком на кровать и обратилась к мужу с длинным монологом, который первое время был бурным и беспорядочным, а со временем превратился в однообразное кольцевое построение: мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих, а ты говоришь, что это не твои дети, но я ни в чем не виновата перед тобой, как же ты можешь мне не верить, ведь мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих...

Потрясенная Эмма Ашотовна, испытывая чувство вины, выстраивала в обратной перспективе две колоннады цифр, кратных тринадцати и девятнадцати, отстраненно отмечала, как они лиловеют и синеют по мере удаления, и нащупывала одновременно ниточку какого-то гениального и сказочного решения, которое смогло бы все вернуть назад, к месту непостижимой ошибки, и все бы организовалось мудро, мирно, ко всеобщей радости.

Но Маргарита с постели не встала. И Эмма Ашотовна начинала свой день с того, что поднимала дочь, вела ее в уборную, в ванную, умывала, поила чаем и укладывала снова в постель.

Со временем она перестроилась, не укладывала, а усаживала Маргариту в кресло, укрыв ноги пледом. На вопросы Маргарита отвечала односложно, с большой неохотой. По шевелению губ, по отдельным, едва слышно произнесенным словам Эмма Ашотовна поняла, что именно повторяет тысячекратно ее дочь, и пыталась вывести Маргариту из ее умственного паралича. Она подносила к ней девочек, укладывала рядом. Маргарита опускала на них свои полупрозрачные пальцы, улыбалась светло и безумно, а губы ее все шевелились, неслышно зывая к жестокосердному мужу.

Уложенные валетом, толсто запеленутые, перегретые, как пирожки в духовке, – Эмма Ашотовна больше всего на свете боялась холода, – девочки довольно долго спали в одной кровати. Мать слабо реагировала на них, отец страдал от одного факта их существования, и только бабушка принимала их как дар небес, любовно и благодарно, стыдясь момента первой неприязни к ним, да еще феня, соседка и помощница, склонялась над ними, улыбаясь совершенно таким же беззубым ртом, как у девочек, и ворковала сладким голосом:

– Ату, агу, агушеньки...

Потом внесли вторую кровать, и они росли, смотрелись друг в друга, как в зеркало, быстро перенимая все навыки одна от другой, вечно обезьянничая. С нежностью и почти научным интересом Эмма Ашотовна отмечала в них все черты сходства, все штрихи различий: младшая вроде бы ударяется в леворукость, и кожа у нее чуть смуглей, гуще и темней волосы, крупнее кисти рук. Левая ягодица младшей была отмечена родинкой в форме перевернутой трехзубой короны. У Гаяне тоже была родинка, но на правой ягодице, и форма ее была как-то размыта. Зато зубы начинали прорезаться у них всегда в один и тот же день, и с удовольствием

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) ели они одну и ту же пищу, и всегда дружно отказывались от моркови, в каком бы виде она ни попадала на их стол.

В свой срок они начали садиться, вставать на ножки, совершать первые шаги и первые нападения друг на друга.

Переписка их родителей закончилась тем последним письмом Серго. Далее она развивалась исключительно между Серго и тещей. Эмма Ашотовна, так жестоко ожегшаяся своей привычкой руководить, входя во все детали, жизнью дочери, делала теперь вид, что ничего не произошло, давала зятю точные отчеты о детях и заканчивала свое письмо дежурной фразой: «Состояние Маргариты все то же».

Серго отвечал кратко и официально, имени Маргариты никогда не упоминая, тещу же, несмотря на полное внешнее почтение, он и раньше почитал старой ведьмой.

Пережив адскую полосу ревности, он крепко решил, что вычеркнул недостойную жену из своей жизни. Но оказалось, что он и себя как будто вычеркнул из списка живых. Вероятно, тем самым и обманул смерть. Она его не замечала. Участник всех больших танковых сражений войны, от Курского до боя на Зееловских высотах, он ставил на ход подбитые танки, не раз выводил из окружения отремонтированные им машины – однажды в отступлении он остался чинить подбитый танк в жидком скверике отданного города и вывел его ночью, когда город был полон немцами.

Много раз он просил перевести его в боевой расчет, поближе к смерти. Все напрасно. И ветерок пули не пролетел мимо его широкого низкого лба.

– Заговорен, – говорил его друг Филиппов...

Кончилась война. Была объявлена победа. И этот день был для Эммы Ашотовны днем горестных воспоминаний о том несчастнейшем из дней, когда рухнул на пол муж – и уж больше не встал, и о последнем приезде Серго и всей той ужасной нелепости, которую он натворил после рождения детей.

Эмма Ашотовна сообщила Маргарите о конце войны. Она слабо кивнула головой:

– Да, да...

– Теперь Серго вернется, – неуверенно сказала Эмма Ашотовна.

– Да, да, – безразлично проговорила Маргарита, увлеченная, как всегда, непрерывным разговором с отсутствующим мужем.

..Была середина июля, раннее утро. Он приехал в Москву ночью и несколько часов провел перед домом, где прошли самые счастливые годы его жизни. Он не мог решить, войти ли в этот дом или сразу ехать дальше, в Ереван, к братьям, сестрам, народившимся новым племянникам. В болезнь Маргариты он никогда не верил и смертельно боялся, что на его звонок ему откроет дверь скрипач Миша, и тогда он убьет этого недоноска, убьет к чертям собачьим, просто задушит руками.

Серго хрупал своими непревзойденно белыми зубами и кидался прочь от этого проклятого дома. Выходил к Никитским воротам, сворачивал на Спиридоновку, делал круг и снова возвращался к милому дому в Мерзляковском переулке.

В начале седьмого он окончательно решил уезжать, бросил прощальный взгляд на свое бывшее окно во втором этаже и увидел, как раздвинулись знакомые занавески, и узнал руку тещи в тусклых перстнях.

Он вошел в парадное и едва не потерял сознание от запаха стен – как если бы это был запах родного тела. Поднялся на второй этаж, позвонил четыре раза, и Эмма Ашотовна, как будто нарочно стоявшая возле двери, немедленно открыла ему. Она была одета, причесана, в руках держала маленькую медную кастрюльку. Он машинально поцеловал тещу и прошел в комнату. Она была по-прежнему разделена натрое: передняя отгороженная часть, столовая без окон, и два небольших купе с подвижными дверями, с квадратным окном в каждом из отсеков. Левая комнатка была когда-то кабинетом тестя, правую занимали они с Маргаритой. Он тронул дверь, она отъехала по узкой рельсе – изобретение покойного Александра Арамовича. Маргариты там не было.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
Одна черноглазая девочка жевала, сидя в кровати, уголок пододеяльника, вторая стояла в кровати и возила по ее бортику плюшевого зайца. Виктория выплюнула недожеванный пододеяльник и уставилась с интересом на мужчину. Гаяне отчаянно закричала и бросила зайца. Вика подумала и ударила его толстой ручкой по груди.

– Дядька плохой! – объявила она. – Уходи!

Серго задом протиснулся в столовую, где Эмма Ашотовна умоляюще махала руками:

– Сережа, они привыкнут, привыкнут... Испугались... Мужчин никогда не видели...

А Серго уже отодвигал вторую дверь-заслонку, где ждал увидеть что угодно, но не это... Бледненькая Маргарита, похожая на газель еще больше, чем во времена юности, с полуседой головой, посмотрела на него рассеянным взглядом и закрыла глаза. Она разговаривала со своим мужем и не хотела отвлекаться.

– Марго, – позвал он тихо. – Это я.

Она открыла глаза и сказала тихо и внятно:

– Хорошо. – И отвернулась.

– Больная. Совсем больная, – поверил он наконец... Опустив покрасневшие глаза, зажав лоб широкими кистями, которые еще несколько лет будут издавать военный запах металлической гари, он молча сидел у стола.

Эмма Ашотовна металась между орущими внуками, безучастной дочерью и безмолвным зятем. Она сверкала крупными камнями на изработанных руках, шуршала старым шелковым платьем павлиньего цвета и говорила красивым низким голосом с гортанными, никогда не исчезающими у армян звуками, говорила торжественно и одновременно обыденно:

– Ты пришел, Серго. Ты пришел. Столько полегло, а ты пришел. Имя твое три года не сходило с ее уст, днем и ночью. Вот такую свечу за тебя держала перед Господом. Детки твои, и они две свечечки были за тебя...

Серго не отнимал рук ото лба. Жена его была изменница и «би-лядь», хотя и больная. Дети – чужие. Но чугунные небеса, которые он носил на своих окаменевших плечах, дрогнули.

А Эмма Ашотовна почуяла это движение и поняла, что вся их жизнь решается в эту минуту, и все зависит от того, сможет ли она сказать сейчас все правильно и с добром. Весь черный комок гнева и ярости, который собрался в ней за эти годы против Серго, она, как ей казалось, собрала в левую руку и крепко сжала его в горсти...

Вершинную минуту переживала она. Впервые в жизни остро чувствовала она, что ей не хватает ума, знания жизни, красноречия, и она молила о помощи.

«Господи, сделай так! Господи, сделай!» – отчаянно кричала ее душа, но она продолжала говорить с лицом спокойным и радостным:

– Твой дом ждал тебя, Серго... Вот чашка твоя, смотри... Маргарита не велела трогать... Книги твои и тетради старые стоят как стояли... Дождались мы, дождались тебя... Только Александра Арамовича нет с нами... Дети твои дождались тебя, Серго. Я знаю, она теперь встанет...

Плакали за дверью дети. За другой лежала его больная жена. Теща говорила слова, которых он почти и не слышал. Горькие тяжелые небеса трескались, двигались, опадали кусками. Гулкая боль шла от сердца по всему телу – как будто с него спадали запекшиеся черные куски окалины, – и в этой боли была сладость освобождения от многолетней муки. Эти чужие дети плакали. Их плач касался свежих разломов его сердца и отзывался на них. Он принимал этих чужих детей, рожденных в преступной связи его жены бог знает с кем, может, и не с тем музыкантом.

Он оторвал ладони ото лба, встал монументально – он был крупный человек – и, кавказским торжественным движением отведя руку в сторону, спросил:

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](http://ulitskaya@ludmila.ru)  
– Мама, почему дети плачут? Идите к ним!

К вечеру у Эммы Ашотовны страшно разболелись пальцы левой руки, три средних, исключая мизинец и большой. Всю ночь рука горела, к утру пальцы распухли и поднялась температура. Несколько дней она страшно мучилась. В дни болезни – к слову сказать, первой болезни с довоенного времени – она едва только могла помочь Маргарите, а Серго возился с девочками, которые не только быстро его приняли, но привязались и даже по-женски соперничали за его внимание. Он кормил их, переодевал, сажал на горшок. Душа его стонала от счастья при каждом прикосновении к этим смуглым, чудесным щечкам, чуть влажным кудряшкам, игрушечным пальчикам.

Эмме Ашотовне поставили диагноз – множественный панариций. Сама-то она знала, что через эти нарывы уходило из нее то зло, которое накопила она на своего дурака зятя. Однако, когда нарывы созрели, их вскрыли и все быстро зажило, она еще недели две не снимала повязки с пальцев – для укрепления любви между Серго и девочками.

Вынимая их по вечерам из большого жестяного таза, касаясь их телец через махровое полотенце, он испытывал острое наслаждение. Он не обращал внимания на чайного цвета родинки, украшавшие детские ягодицы. И единственным человеком, который мог бы ткнуть его в плоский зад, в самую середину родинки в виде перевернутой короны, была его бедная жена Маргарита, которая все сидела в своем кресле и разговаривала с мужем, которого она так любила.

Второго марта того же года...

Зима была ужасная: особенно сырой и душный мороз, особенно грязное ватное одеяло на самые плечи опустившегося неба. Еще с осени слег прадед, он медленно умирал на узкой ковровой кушетке, ласково глядя вокруг себя провалившимися желтовато-серыми глазами и не снимая филатерии с левой руки... Правой же он придерживал на животе плоскую, обшитую серой стершейся саржей электрогрелку, образец технического прогресса начала века, привезенный из Вены сыном Александром перед той еще войной, когда вернулся домой после восьмилетнего обучения за границей молодым профессором медицины.

Греть живот, вообще-то, было строго запрещено, но под этим слабым неживым теплом утихала боль, и сын-онколог уступил в конце концов просьбе старика и разрешил грелку. Он хорошо представлял себе и размеры опухоли, и области метастазирования, исключаящие операцию, и преклонялся перед тихим мужеством отца, который во всю свою девяностолетнюю жизнь ни на что не пожаловался, ни на что не посетовал.

Приходила из школы правнучка Лилечка, любимица, с блестящими коричневыми глазами и матовыми черными волосами, в коричневом форменном платице, вся в следах мела и лиловых чернил, ласковая, розовая, влезала с краю на кушетку, под больной бок, натягивала на себя плед, ворохаясь локтями и пухлыми коленями, и шептала прадеду в исхудавшее волосатое ухо:

– Ну, рассказывай...

И старый Аарон рассказывал – то про Даниила, то про Гедеона. Про богатырей, красавиц, мудрецов и царей с мудренными именами, которые все были давно умершими родственниками, но впечатление у девочки оставалось такое, что прадед Аарон, по своей древности, некоторых знал и помнил.

Зима эта была ужасной и для Лилечки: она тоже чувствовала особую тяжесть неба, домашнее уныние и враждебность уличного воздуха. Ей шел двенадцатый год. Болело под мышками, и противно чесались соски, и временами накатывала волна гадливого отвращения к этим маленьким припухlostям, грубым темным волоскам, мельчайшим гнойничкам на лбу, и вся душа вслепую противилась всем этим неприятным, нечистым переменам тела. И все, все сплошь было пропитано отвращением и напоминало о морковно-желтой жирной пленке на грибном супе: и унылый Гедике, которого она ежедневно мучила на холодном пианино, и шерстяные колючие рейтузы, которые она натягивала на себя по утрам, и мертво-лиловые обложки тетрадей... И только под боком у прадеда, пахнущего камфарой и старой бумагой, она освобождалась от тягостного наваждения.

Бабушка Бела Зиновьевна, профессор, специалист по кожным заболеваниям, и

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru) Александр Ааронович были крепконогой парой, дружно тянущей немалый воз. Александр Ааронович, по-домашнему Сурик, был высокий, костистый и широкоухий человек, автор незамысловатых шуток и хитроумнейших операций, он любил говорить, что всю свою жизнь предан двум дамам: Белочке и медицине. Низенькая полная Белочка, с наведенными бровями, красно на помаженным ртом и яркой сединой, конкуренции не боялась.

Какое-то странное волнение касалось их обоих, когда, придя с работы, они заставляли старика и девочку в самозабвенном общении. Переглядывались, и Белочка смахивала слезу от уголка подведенного глаза. Сурик многозначительно и предостерегающе постукивал пальцами по столу, Бела поднимала вверх раскрытую ладонь – как будто это была азбука для глухонемых. Множество было у них таких движений, знаков, тайных бессловесных сообщений, так что в словах они мало нуждались, улавливая все взаимными сердечными токами.

Уходит старый отец, понимали эти еще молодые старики, и на пороге смерти передает свое сомнительное богатство младшему колену, девочке на пороге девичества. И хотя ветхие сказки древнего народа казались ученым профессорам наивной и изношенной одеждой человеческой мысли, а собственное их мышление было выточено и дисциплинировано школой европейского позитивизма в Вене и в Цюрихе, приучено к ловкой научной игре, и поклонялись они лишь одному картонному богу – изворотливому факту и мужественно существовали в честном и прискорбном атеизме, оба они чувствовали, что здесь, на вытертой кушетке, рядом со снисходительно-неторопливой смертью процветал небывалый оазис. Здесь не было ни врачей-отравителей, ни мистического страха перед их злоумышлениями, охватившего миллионы людей. Дух этой действительной отравы – страха, гнусности и чертовщины – отступал только здесь, и, удрученные, ежедневно готовые к аресту, высылке, к чему угодно, ученые профессора медлили уходить из столовой, общей комнаты, где болел старик, к своим обычным научным занятиям, а садились в кресла возле редчайшей тогда редкости, телевизора, впрочем невключенного, и вслушивались в старческое распевное воркование: речь шла о Мордехеае и Амане.

Они улыбались друг другу, тосковали и молчали о том безумии, в которое окунались каждый день за порогом своего дома...

Пережив большую войну, потеряв братьев, племянников, многочисленную родню, но сохранив друг друга, свою малую семью, всю полноту взаимного доверия, дружбы и нежности, добившись добротного и невызывающего успеха, они, казалось, могли бы еще полное десятилетие, пока здоровье, силы и опыт были в счастливом равновесии, жить так, как им всегда хотелось: с аппетитом работать всю чрезмерно плотную неделю, уезжать с субботы на воскресенье на новую, недавно отстроенную дачу, играть в четыре руки Шуберта на плохоньком дачном инструменте, купаться в послеобеденные часы в кувшинчатой темной речушке, пить чай из самовара на деревянной веранде в косых лучах заходящего солнца, вечером читать Диккенса или Мериме и одновременно засыпать, обнявшись таким отлежавшимся за сорок с лишним лет образом, что и непонятно – форма ли выпуклостей и вогнутостей их тел в определенных позах гарантирует их устойчивое удобство, или за эти годы, проведенные в ночном объятии, сами тела деформировались навстречу друг другу, чтобы образовать это единение.

И вполне, вполне, через головы их седые, хватило бы им омрачающих жизнь переживаний из-за давнего и тяжелого конфликта с сыном, избравшим добровольно такую область деятельности, куда нормального человека черт калачом не заманит. Он занимал большую, но неопределенную должность, жил на северо-востоке, за Полярным крутом, вместе со своей медведеобразной женой Шурой и младшим сыном Александром, и была какая-то насмешка судьбы в том, что самые несоединимые в семье люди назывались одним именем.

Старшую свою дочь, Лилю, сын привез в сорок третьем году в Вятку, в военный госпиталь, где родители его по двенадцать часов стояли у операционного стола. Девочке было пять месяцев, она весила три килограмма, была похожа на высохшую куклу, и с этого дня до самого конца войны они работали в разные смены, – обычно Александр Ааронович брал себе ночь. Лиля, Белой Зиновьевной выправленная, выкормленная, так и осталась у бабушки с дедушкой, заново рожденная к славной доле профессорской внучки. Но приемных своих родителей, зная обидчивость родной матери Шуры, изредка приезжавшей, она звала Белочкой и Суриком, а прадеда – дедушкой.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya@ludmila.ru](http://litskaya@ludmila.ru)  
Теперь Бела и Сурик сидели в мягких старых креслах в суровых чехлах, вполоборота к кушетке, и делали вид, что не слушают, о чем там шепчутся старик и девочка.

– Дедуль, – ужаснулась Лиля, – и что же, всех-всех врагов на дереве повесили?

– Я же не говорю тебе: это плохо, это хорошо. Я говорю, как было, – с сожалением в голосе ответил прадед.

– Другие придут, и отомстят, и убьют Мордехая... – с тоской проговорила девочка

– Ну конечно, – неизвестно чему обрадовался прадед, – конечно, так все потом и было. Пришли другие, убили этих, и опять. Вообще, я тебе скажу, Израиль жив не победой, Израиль жив... – Он приложил левую руку в филактериях ко лбу и поднял пальцы вверх:

– Ты понимаешь?

– Богом? – спросила девочка.

– Я же говорю, ты умница, – улыбнулся совершенно беззубым младенческим ртом дед Аарон.

– Ты слышишь, чем он забивает голову ребенку? – грустно спросила Бела у мужа, когда они остались в своей комнате с двуспальным, как шутил Сурик, письменным столом...

– Белочка, он простой сапожник, мой отец. Но не мне его учить. Знаешь, иногда я думаю, было бы лучше, если бы и я остался сапожником, – хмуро сказал Сурик.

– О чем ты говоришь? Обрато уже не пускают! – раздраженно ответила умная Белочка.

– Тогда ты можешь не волноваться из-за Лилечки, – усмехнулся он.

– А! – махнула рукой Бела. Она была практичной и не такой уж возвышенной. – Этого я как раз не боюсь! Я боюсь, что она сболтнет что-нибудь в школе!

– Душа моя! Но именно теперь это уже не имеет никакого значения, – пожал плечами Сурик.

Бела Зиновьевна беспокоилась напрасно. Лилия ничего и не смогла бы сболтнуть: с самой осени в классе с ней не разговаривали. Никто, кроме Нинки Князевой, которую всё переводили в школу для дефективных, да никак бумаг не могли собрать. Крупная, редкостно красивая, не по-северному рано развившаяся Нинка была единственной девочкой в классе, которая, по своему слабоумию, не только с Лилей здоровалась, но и охотно становилась с ней в пару, когда выводили это шумно пишущее стадо в какой-нибудь обязательно красноразнозначный музей.

У времени были свои навязчивые привычки: татары дружили с татарами, троечники с троечниками, дети врачей – с детьми врачей. Дети еврейских врачей – в особенности. Такой мелочной, такой смехотворной кастовости и Древняя Индия не знала. Лилия осталась без подруги: Таню Коган, соседку и одноклассницу, родители отправили в Ригу к родственникам еще до Нового года, и потому последние два месяца были для Лилии совсем уж непереносимыми.

Любой взрыв смеха, оживления, любой шепот – все казалось Лиле направленным против нее. Какое-то темное жужжание слышала она вокруг, это было жукастое черно-коричневое "ж", выползающее из слова «жидовка». И самым мучительным было то, что это темное, липкое и смолистое было связано с их фамилией, с дедом Аароном, его кожаными пахучими книгами, с медовым и коричневым восточным запахом и текучим золотым светом, который всегда окружал деда и занимал весь левый угол комнаты, где он лежал.

И к тому же – оба эти чувства непостижимым образом навсегда были сложены вместе: домашнее золотое свечение и уличное коричневое жужжание.

Едва раздавался хриплый и долгожданный звонок-освободитель, Лилия смахивала свои образцовые тетради в портфель и неслась на тяжелых ножках к раздевалке, чтобы



Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) скорее-скорее, не застегивая пуговиц и злобного подшейного крючка, выскочить на воздух и быстро, через комья снежно-серой каши, через лужи с битым льдом, спадающими калошами брызгая на чулки, на подол пальто, еще через один двор – и в свой подъезд, где успокаивающе пахнет сырой известкой, дальше лестница на второй этаж без площадки, с плавным поворотом, к высокой черной двери, где теплая медная пластинка с фамилией Жижморский, их ужасной, невозможной, постыдной фамилией.

В последнее время прибавилось еще одно испытание: у выхода из школьного двора, раскачиваясь на высоченных ржавых воротах, ее подждал страшный человек Витька Бодров, по-дворовому Бодрик. У него были жестяно-синие глаза и лицо без подробностей.

Игра была незамысловата. Выход из школьного двора был один, через эти самые ворота. Когда Лиля подходила к ним, стараясь погуще затесаться в толпу, чуткие одноклассницы либо отступали немного, либо пробегали вперед, а когда она вступала в опасное пространство, Бодрик отталкивался ногой и, чуть пропустив ее вперед, направлял гнусно скрипящие ворота ей в спину. Удар был несильный, но оскорбительный... Каждый день он сообщал игре нечто новое. Однажды Лиля развернулась, чтобы принять удар не спиной, но лицом, схватилась за железные прутья и повисла на них.

В другой раз она встала поодаль ворот и долго ждала, делая вид, что и не собирается идти домой. Но у Бодрика терпения и свободного времени было предостаточно, и, продержав ее так с полчаса, он с удовольствием пронаблюдал, как она пытается протиснуться между прутьями ограды. Попытка эта не удалась, в эту узкую щель едва могла протиснуться самая худенькая из девочек, да к тому же не отягощенная толстым пальто.

Был удачный день, когда ей удалось проскочить перед старой учительницей Антониной Владимировной, изобразившей своим восточносибирским лицом крайнее удивление по поводу такой невоспитанности.

День ото дня аттракцион развивался. На него собирались поглазеть все, кому не жаль было времени. Зрителей день ото дня становилось все больше, и как раз накануне они были вознаграждены захватывающим зрелищем: Лиля предприняла отчаянную и почти удачную попытку перелезть через школьную ограду, увенчанную плоскими чугунными пиками. Сначала она просунула между прутьями свой портфель, а потом поставила ногу в заранее намеченном месте, где несколько прутьев было изогнуто. Она долезла до самого верха, перекинула одну ногу, потом вторую и тут поняла, что сделала ошибку, не развернувшись заранее. Замирая от страха, она проделала разворот и медленно потекла вниз, прижимаясь лицом к ржавому железу.

Пола ее пальто зацепилась за пику, натянулась. Сначала она не поняла, что ее держит, потом рванулась. Честный коверкот старого профессорского пальто, доживающего свою перелицованную жизнь на юном пухлом теле, напрягся, сопротивляясь каждой своей добротной крученной ниткой, напружинился.

Восторженные наблюдатели загудели, Лиля рванулась, как большая толстая птица, и пальто отпустило ее, издав хриплый треск. Когда она сползла на землю, Бодрик стоял возле нее, держа в руках испачкавшийся портфель, и ласково улыбался:

– А ты молодец, Лилька. Изворотливая. А еще слазишь?

И обманным охотничьим движением он подбросил ее портфель как бы легонько, но кисть его была точна, как у австралийского аборигена. Портфель взвился вверх, качнул боками, развернулся в воздухе и шлепнулся по ту сторону ограды. И все засмеялись.

Лиля подняла упавшую шерстяную шапочку с двумя глупыми хвостами и, не оглядываясь, все силы собрав на то, чтобы не бежать, пошла к дому.

Ее не преследовали. Через полчаса преданная Нинка принесла ей вытертый носовым платком портфель и сунула его в дверь.

Утром Лиля пыталась заболеть, пожаловалась на горло. Бела Зиновьевна заглянула ей в рот, сунула под мышку градусник, поймала взглядом исчезающий столбик ртути и хмуро вынесла приговор:

– Вставай, девочка, надо работать. Всем надо работать.

В этом состояла ее религия, и богохульства лени она не допускала. Лиля уныло поплелась в школу и просидела три урока, томясь неизбежностью прохода через адовы врата. А на четвертом уроке произошло нечто.

Было всего лишь первое марта, и руль непотопляемого корабля не выпал еще из рук Великого Кормчего. Александр Ааронович и Бела Зиновьевна, если бы узнали об этом невероятном поступке от скрытной Лилечки, высоко бы его оценили.

Итак, на четвертом уроке, ближе к концу, Антонина Владимировна, сверкая самой одухотворенной частью своего лица, железными зубами, состоящими в металлическом диалоге с серебряной брошечкой у ворота в форме завитой крендельком кашки, взяла в руки полуметровую полированную указку и направилась к пыльному пестрому плакату в торце класса. Держа указку как рапиру, она ткнула ее концом в негнущееся слово «интернациональный».

– Посмотрите сюда, дети, – она так и говорила: «дети», не гимназическое «девочки», не безликое «ребята», – здесь изображены представители всех народов нашей великой многонациональной родины. Видите, здесь и русские, и украинцы, и грузины, и... – Лиля сидела вполборота назад в тихом ужасе – неужели она сейчас это произнесет и весь класс обернется к ней? – и татары, – продолжала учительница.

Все обернулись на Раю Ахматову, лицо ее налилось темной кровью. А Антонина Владимировна все неслась по опасному пути:

– И армяне, и азербайджанцы, – так и сказала «азербайджанцы»... мимо, мимо... нет!.. – и евреи!

Лиля замерла. Весь класс обернулся в ее сторону. Дура святая, чистопородная разночинка, от деда-пономаря, от матери-прачки, дева чистая, с медсправкой «виргина интакта», с удочеренной в войну сиротой, косою и злой Зойкой, поклонница Чернышевского и обожательница Клары Цеткин, Розы Люксембург и Надежды Константиновны, – была в ней такая провидчески феминистическая жилка, – верующая в «материя первична», как ее дед-пономарь в Пречистую Богородицу, честная, как оконное стекло, она твердо знала, что враги – врагами, а евреи – евреями.

Но величия этого поступка Лиля тогда не поняла. Голым просветом между коротким чулком и тугой резинкой ненавистных голубых штанов на шекочу-ше-китайском начесе она прилипла к выкрашенной маслом парте.

– И все народы у нас равны, – продолжала Антонина Владимировна свое святое учительское дело, – и нет плохих народов, у каждого народа бывают и свои герои, и свои преступники, и даже враги народа...

Она еще что-то говорила нудное, лишнее, но Лиля ее не слышала. Она чувствовала какую-то маленькую жилку, как она бьется возле носа, и трогала пальцем это место, соображая, заметно ли это дерганье ее соседке через проход Светке Багатурия.

Возле школьных ворот Лилю ожидала удача: Бодрика не было. С чувством полного и навсегда освобождения, совсем не подумав о том, что он может появиться опять послезавтра, вприпрыжку она понеслась домой. Дверь подъезда, обычно плотно удерживаемая тугой пружиной, была на этот раз чуть приоткрыта, но Лиля не обратила на это внимания. Она распахнула ее и, шагнув со света во тьму, смогла различить только темный силуэт стоящего у внутренней двери человека. Это был Бодрик. Это он слегка придерживал дверь ногой, чтобы заранее разглядеть входящего.

Их разделяли теперь два шага полной тьмы, но она почему-то увидела, что стоит он, прижавшись спиной к внутренней двери, раскинув крестом руки и склонив набок густо-русую голову.

Он был актером, этот Бодрик, и теперь он изображал что-то страшное и важное, думал, что Христа, а на самом деле был маленьким, дерзким и несчастным разбойником. А девочка стояла напротив со скорбно-семитским лицом – высоким

Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
переносом тонкого носа, книзу опущенными наружными углами глаз, с  
нежно-выпуклым ртом, с тем самым лицом, какое было у Марии Иосиевой...

– А зачем ваши евреи нашего Христа распяли? – спросил он ехидным голосом.  
Спросил так, как будто распяли евреи этого Христа исключительно для того, чтобы  
дать ему, Бодрику, полное и святое право шлепать Лильку по заду ржавыми  
железными воротами.

Она замерла в ожидании, словно забыв о возможности выскочить на улицу, сбежать  
немедленно. Ведь дверь парадного была у нее за спиной. Она почему-то стояла  
столбом.

Бодрик шагнул к ней, обхватил крепко, скользнул руками вниз и, задрвав  
незастегнутое пальто, попал рукой как раз на этот голый промежуток между чулком  
и подтянутой к самому паху резинкой от штанов.

Она вывернулась, метнулась в угол, ткнула Бодрика в какое-то уступчивое место  
портфелем. Он охнул, а она, в полной темноте сразу попав пальцами в дверную  
ручку, выскочила на улицу. Плотное розовое пламя вспыхнуло в голове, весь воздух  
вокруг воспламенился, и все залилось такой красной могучей яростью, что она  
задрожала, едва вмещающая в себя огромность этого чувства, которому не было ни  
названия, ни границ.

Дверь медленно открылась. Плечом вперед, чуть косо, выходил Бодрик. Она  
бросилась на него, схватила его за плечи и, взыв, со всей силой трянула о  
дверь. От неожиданности нападения он совершенно растерялся. То сложное чувство,  
которое он к ней давно испытывал, смесь тяги, злости, неосознанной зависти к ее  
сытой и чистой жизни, по своей силе и внутренней оправданности не шло в  
сравнение с тем огненным взрывом ярости, который бушевал в ее душе.

Он пытался оторвать ее от себя, стряхнуть, но это было невозможно. Он даже не  
мог как следует размахнуться, чтобы ее треснуть. Ему удалось только  
переместиться за угол от парадного, в некую слепую выемку стены, где они не были  
видны всем проходящим по двору. Но это было не к лучшему. Она трясла его за  
плечи, голова его ударялась о серый шершавый камень, он лязгал зубами, и  
единственное, что он смог, – выпростав руку, смазать ее два раза по мокрому  
красному лицу, причем не по-мужски, кулаком, а всей распушенной пятерней,  
оставив на ее лице четыре грубых грязных царапины. Но она этого не  
почувствовала. Она все кидала его о стену, пока вдруг ярость ее, как надувной  
красный шар, не оторвалась от нее и не улетела. Тогда она отпустила его и,  
повернувшись незащищенной спиной и вовсе не думая о возможном нападении сзади,  
беспрепятственно ушла в свое парадное...

..Как он нравился ей минувшим летом.. Она стояла за тюлевой занавеской бабушкиной  
комнаты и часами наблюдала, как он размахивал длинным шестом с развевающейся на  
конце тряпкой, как его голуби, лениво поднимаясь, сначала беспорядочной  
неопрятной кучей вились над голубятней, а потом выстраивались, делали широкие  
плавные крути, все шире, шире, и уносились в чисто вымытое теплое небо. Проходя  
мимо их жилья, двухоконного низкого строения с прилепленной голубятней, сараем и  
курытником, она замедляла шаг, разглядывая увлекательные внутренности чужой  
частной жизни: их железные бочки, верстак, у которого работал старший Бодров,  
вышедший тогда на временную свободу из своего обычного заключения, лежащую на  
земле где-то свинченную ржавую колонку...

В конце лета Бела Зиновьевна, неуклонно исполняя какие-то анахронические, ей  
одной ведомые обязательства богатых перед бедными, послала Лилу в дом дворничихи  
с жестко отглаженной, аккуратно сложенной стопкой ее, Лилечкиных, вещей, из  
которых в этом году она так стремительно выростала. Девочки Бодровы, Нинка и  
Нюшка, с визгом и шумом разделили Лилино добро, Тонька-дворничиха поблагодарила  
и сунула Лиле в руку маленький зеленый огурец, а Бодрик, еще издали завидев  
Лилу, убрался к своим голубям, кроликам и цыплятам и не показался во все время,  
что Лилия оставалась в их отгороженном от общего двора загоне. А Лилия все  
поглядывала в ту сторону, не выйдет ли...

И только теперь, в парадном, она поняла, что в этом и было самое ужасное.

Старой Насти, жившей у них лет двадцать, дома не было. Прадед, к которому было

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya@ludmila.ru](http://litskaya@ludmila.ru) сунулась Лилечка, безучастно спал, изредка всхрапывая. Она забилась в бабушкину комнату, на «горестный диванчик», как называла Бела Зиновьевна кресло-рекамье, единственный неудвоенный предмет в своем царстве парности, где все двоилось, словно комната была перегорожена вдоль невидимым зеркалом: две гордые кровати с бронзовыми накладками, две прикроватные тумбочки, две одинаковые рамы чуть разнящихся между собой картин. На этом «горестном диванчике» спала обыкновенно Лиля во время болезни, когда бабушка забирала ее в свою комнату. Сюда приходила поплакать, когда случалось в ее детской жизни какое-нибудь огорчение.

Сейчас ее знобило, ныло в низу живота, и она свернулась на диванчике, укрывшись с головой тяжелым клетчатым халатом с витым, местами отпоротым лиловым шнуром. Ей хотелось уснуть, и она мгновенно уснула, все держа в голове не уходящую и во сне мысль: как хочется уснуть...

Сон был хоть и долгий, но весь застывший на одной ноте – нудной боли и безмерного отвращения. Отвращения к шершавой ткани диванной подушки, к мыльному, неприлично исподнему запаху «Красной Москвы», любимых бабушкиных духов. И все это покрывалось безмерным желанием уйти ото всего этого в какую-то круглую, теплую, давно ей знакомую щель и погрузиться там в сон более глубокий, где нет ни запахов, ни боли, ни тревожного стыда, неизвестно откуда взявшегося. Туда, где ничего, совсем ничего нет.

Она не слышала глухой суеты за стеной возле деда, Настиных всхлипов, тихого звяканья шприца.

Поздно, в восьмом часу вечера, ее разбудила бабушка, и оказалось, что ей все-таки удалось уйти совсем далеко, потому что, проснувшись, она не сразу сообразила, где находится, – из такой далекой дали вернулась она в бабушкину комнату, в парно-симметричный и правильный мир, и поразилась склоненному над ней яркому лицу, которое было словно перевернутым и неузнаваемым, как будто просторы сна, в котором она пребывала, были по природе своей столь убедительно единственными, что исключали и самую возможность какой бы то ни было парности, симметрии.

Бела Зиновьевна, со своей стороны, с изумлением разглядывала четыре свежие царапины, которые шли ото лба через щеки к самому подбородку.

– О Господи, Лиля, что с твоим лицом? – спросила Бела Зиновьевна.

Девочка на минуту задумалась – так глубоко она забыла дневное происшествие. Потом оно всплыло, все разом, со всей предыдущей неделей и прошлым летом, но всплыло в совершенно неузнаваемом, измененно-ничтожном виде. Все оно было чепухой, незначительной мелочью и давним-давнишним полузабытым событием.

– Ерунда, с Бодриком подралась, – беспечно, улыбаясь сонным лицом, ответила Лиля.

– То есть как – подралась? – переспросила Бела Зиновьевна.

– Да глупости какие-то, зачем Христа распяли... – улыбнулась Лиля.

– Что? – сведя свои черные брови, переспросила Бела Зиновьевна. И, не слушая ответа, велела ей немедленно одеваться.

Отблеск того гнева, что обуял Лилю около подъезда, взметнулся над ее бабушкой.

– Какая низость, какая черная неблагодарность, – клокотала Бела Зиновьевна, волоча за руку упирающуюся Лилечку к бодровскому жилью. И дело было, в конце концов, не в аккуратных тридцатках, которые Бела Зиновьевна пунктуально преподносила на праздники этой опустившейся несчастной пьянчужке, и не в стопочках старых Лилечкиных, очень еще приличных вещей, а дело было в том, что по симметрическим понятиям ее справедливости не мог Тонькин сын руку поднять на ее чистенькую, ясную девочку, на ее розово-смуглое личико, оскорбить ее своим грязным прикосновением, этими ужасными царапинами. Надо было, кстати, перекисью промыть...

Бела Зиновьевна постучала и, не дожидаясь отзыва, распахнула кривую дверь. В комнате с большой печью, с низко натянутыми веревками с сырым бельем как-то не

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) сразу можно было и разглядеть, где что, где кто. Пахло еще хуже, чем от «Красной Москвы», самым что ни на есть страшным низом – мочой, гнилью, грибом и водорослью.

– Тоня! – повелительным голосом окликнула Бела Зиновьевна, и за печкой что-то зашебуршало.

Лиля озиралась по сторонам. Больше всего ее поразил пол. Он был земляной, кое-где покрытый неровными досками. В углу, на железной широкой кровати с ржавыми прутьями, точно такими же, что на школьной ограде, на пестром одеяле лежал Бодрик. В ногах его сидели Нинка с Нюшкой и наматывали на спинку кровати широкие мятые ленты, старательно оплевывая их перед тем, как сделать очередной виток. Возле кровати на полу стоял кривой, потерявший былую округлость таз.

Из-за печки, оправляя на ходу юбку, вышла, слегка покачиваясь, низенькая Тонька.

– Тута я, Белзиновна! – Она улыбалась, и на каждой щеке ее широкого плоского лица промялось по большой и круглой, как пупок, ямке.

– Ты посмотри-ка, что твой Виктор с моей девочкой проделал! – строго сказала Бела Зиновьевна, а Тоня тарщила свои белесые глаза и все никак не могла понять, что ж такое он проделал.

В тусклом освещении царпины, так оскорбившие Белу Зиновьевну, были вообще не заметны. Лиля пятилась задом к порогу. Ей было стыдно. Витька мотнул головой, свесился с постели и тихо блеванул в таз.

– Ах ты зараза! – повернувшись к сыну, крикнула Тонька. – А ну вставай, чего разлегся!..

Они обе молчали, когда шли через двор. Лиля опять тащилась позади, и снова ей было так же тяжело, как днем, перед тем как уснуть. Дома она зашла в уборную, заперлась на крючок и села на унитаз, обхватив руками ноющий живот. Так плохо ей никогда еще не было. Она посмотрела на свои спущенные штаны и увидела на их поднебесной синеве кровавое тюльпановое пятно.

«Я умираю, – догадалась девочка. – И так ужасно, так стыдно».

В этот момент она забыла обо всем том, о чем бабушка ее предупреждала. С отвращением стянула с себя испачканные штаны, сунула их под перевернутое ведро для мытья полов и, опустив исцарапанное лицо в холодные ладони, со стекленеющим сердцем стала ждать смерти...

А смерть, подгоняемая ожиданием, действительно входила в дом. На ковровой кушетке делал последние редкие вздохи старый сапожник Аарон. Он был в забытьи. Веки, давно утратившие ресницы, были закрыты не совсем плотно, но глаз его видно не было, только мутная белесая пленочка. Иссохшие руки лежали поверх одеяла, и на левой были намотаны изношенные кожаные ремешки, которые он, вопреки обычаю, месяц как не снимал. Дети его, профессора, обремененные многими медицинскими познаниями, такими громоздкими и бессмысленными, стояли у его изголовья.

В дворницкой, на железной кровати, лежал Бодрик. У него было сотрясение мозга средней тяжести.

На узкой кушетке, в своем подмосковном доме, укрытый до половины старым солдатским одеялом, лежал мертвый человек.

Но было еще только второе марта, и пройдет несколько огромных дней, прежде чем выйдет на деревянные подмостки Лилечкин отец, сын приличных родителей, отекающий, с черным от горя сердцем и невинно-голубыми погонами, и объявит многотысячному серому прямоугольнику – той части великого народа, что терялась в обесцвеченной немощной полиграфией дали на пестреньком плакате в торце Лилечкиного класса, – о том, что он умер.

А про запершуюся в уборной девочку в ту ночь забыли.

Ветряная оспа

На добротный и широкоплечий американский сундук с металлическими скобами и

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) ручками в торцах девочки побросали потертые на задах ледяными горками шубы, скукоженные варежки, скрученные шарфы и мокрые рейтузы. Одежда их так вымокла и заледепела за тот час, который шли они от школы к Алениному переулку: через два проходных двора, мимо барачного городка с нежным российским именем Котяшкина деревня и страшной полуразрушенной церкви.

Дорогой они немного поиграли, немного поссорились, гордая Пирожкова обиделась и ушла, толстая Плишкина побежала ее возвращать и тоже исчезла. Их подождали минут пять в Аленином дворе, но, так и не дождавшись, вошли в подъезд.

Дом был во всем районе лучшим, архитектурным, с башенками на углах крыши и с лифтом. Впятером девочки набились в лифт, потопали, попрыгали, и он отозвался чугунным вздрогом.

Бедная Колыванова, жительница Котяшкиной деревни, окоченела от страха: в лифт она попала первый раз в жизни. Гайка Оганесян, обещавшая стать со временем восточной красавицей, нажала на белую выпуклую кнопку "6", а ее сестра-близнец Вика, красавицей стать вовсе не обещавшая, ровно через мгновение нажала на кнопку «стоп», и лифт, грузно поднявшись на полметра, остановился. Глаза у Колывановой выпучились и стали похожи на эмалированные кнопки с черными цифрами в середине.

Гайка весело взвизгнула. Лиля Жижморская, по прозвищу Жиж, потянулась к кнопкам, но Вика ее оттолкнула. Чельшева Мария расстегнула портфель – она сегодня была дежурной и потому не успела зайти домой, – вытащила из портфеля чернильный карандаш и деловито помусолила его во рту. Пока возле кнопок шла ватно-тяжелая зимняя возня, она маленькими кривыми буквами выводила на деревянной раме зеркала ужасное слово из пяти букв, которое до конца своей жизни она ни разу не произнесла вслух. Слово это представлялось ей противно-коричневым, с бездонным провалом посередине и похожим на вывернутую наизнанку клизму.

Колыванова, научившаяся произносить его непосредственно после слова «мама» и практически знакомая со многими другими словами, изумленно сморгнула.

Она, конечно, не знала, что приглашена была в гости исключительно благодаря припадку демократизма, случившемуся у Алениной матери при обсуждении списка Алениных гостей. Дипломатическая мама, совершенно для себя неожиданно, обнаружила, что теория равенства и братства, последовательно прививаемая ребенку чуть ли не от самого рождения, проросла непредусмотренными плодами: Алена исключительно тонко оценила имущественное равенство нескольких наиболее обеспеченных девочек из класса и именно их избрала для братского и равноправного общения.

В результате Алена получила незамедлительное внушение, и в число приглашенных по родительскому настоянию была включена бедная Колыванова.

Пока девочки возились в лифте, толкались и прыгали, Алена, уткнувшись носом в подушку, тихо лежала в алькове, на широченной родительской кровати, отделенной от мира плотно задвинутой шторой.

Русская девочка Алена Пшеничникова была отчасти американкой: она родилась в стерильной клинике в Вашингтоне, где во время войны исправлял дипломатическую службу ее отец. Хорошая сибирская порода отца, качественное детское питание и гигиенически правильное воспитание, без российского расслабляющего кутанья и баловства, сделали из Алены идеального ребенка: с густыми блестящими волосами, крепкими белыми зубами и чистой розовой кожей. Россыпь веснушек поперек курносого носа и неизвестно почему по-американски выпирающие зубы, не подправленные еще корректирующей пластинкой, были последними и окончательными штрихами этой американизации. Но об этом мало кто догадывался, разве что отцовские сослуживцы, имевшие опыт заокеанской жизни.

Веселая и здоровая девочка Алена плакала, отчаявшись дождаться своих вероломных гостей. Елка была густо увешана несказанной красоты игрушками, был накрыт стол на восемь персон, под каждой тарелкой лежала бумажная салфетка с Микки Маусом, еще неизвестным в здешних широтах зверем, а на тарелках лежали подарки, завернутые в бумажки большой красоты.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru)  
Но часы уже показывали начало шестого, гости приглашены были на четыре, и Алене ясней ясного было, что никакого праздника не состоится, – и потому грохот лифтовой двери, галдеж на лестничной площадке и неугасающая трель звонка показались ей голосом счастья. Она вскочила с кровати, подтянула съехавшие белые носки-гольф с кисточками, расправила бордовое бархатное платье, купленное когда-то матерью впрок с многолетним запасом, а теперь уже тесное, и побежала открывать.

Все девочки, кроме Колывановой, уже бывали в этом волшебном замке отдельной двухкомнатной квартиры, в которой одна комната была таинственно и неизменно заперта, что придавало этому жилью еще больше привлекательности. Можно было только гадать, что же хранится в той, запертой, если жилая была переполнена нездешними драгоценностями: морскими ракушками, игрушками из перьев и цветного стекла – бесхитростный выбор железнодорожного рабочего, вынесенного социальным ветром в дипломатическую службу.

Девочки, озираясь, топтались возле стола. Сестры Оганесян еще возились в прихожей возле сундука, потому что из четырех туфель, уложенных бабушкой в хозяйственную сумку, осталось почему-то только три. Гайка ожесточенно трясла пустую сумку в надежде вытряхнуть недостающий предмет, а Вика торопливо застегивала пряжки, чтобы таким образом на потерявшуюся туфельку полностью оставалось за сестрой.

Так и вошли они в комнату в трех туфлях на двоих, и девочки покатались со смеху.

– Там, в бумажках, всем подарки. Где кто сядет, то и берет, – объявила Алена.

По размеру сверточек были не больше спичечного коробка, все почти одинаковые, но обертки разноцветные, красные, золотые, и перевязаны были подарки цветными шнурками, тоже необыкновенными – пестрыми и шелковисто-жесткими. Внутри тоже оказалась не чепуха: пластмассовые брошки, все разные, только Гайке с Викторией достались одинаковые – гном в красном колпачке с корзиной за спиной. Еще была Красная Шапочка, принцесса, корзинка с цветами и лебедь в короне. Колыванова получила самое лучшее – белого ангелка с золотыми крыльями. А два подарка остались нераскрытыми, пирожковский и плишкинский. Все хотели их раскрыть, но Алена не разрешила.

Девочки проткнули себя длинными булавками, к которым были припаяны эти чудеса, и окончательно сели за стол. Угощение было почти совсем обыкновенным: бутерброды, пирожные, ваза с домашним печеньем. Но вилочки, двузубые пластмассовые вилочки торчали из желтых сырных и розовых колбасных спинок бутербродов, и это было невиданно шикарно. И лимонадом грушевым весь подоконник был заставлен.

– Ален, а вилочку можно взять? – поинтересовалась Вика.

Всем про это хотелось спросить, но остальные не решились.

– Не знаю, – растерялась Алена, – это надо у мамы спросить.

– Я только одну, красненькую, – попросила Вика.

– Ты бессовестная, ужас просто, – шепнула Гайка на ухо сестре.

– А ты молчи, Золушка, – фыркнула Вика, и опять все засмеялись. Гайка покраснела. Вика была язва, бабушка ее так и называла.

Голодной была только Чельшева. У нее на тарелке лежало множество вилочек, а она все тягала и тягала. Колыванова голодной не была, но ей тоже хотелось, чтобы разноцветные вилочки лежали у нее на тарелке. Да она стеснялась брать. Стеснялась она также своего большого роста, больших материнских ботинок, чулок с заплатами и, главное, красной сестриной юбки, которую сама же долго выпрашивала. Так и лежала у нее на тарелке только обертка от подарка. Ангелка же она приколотла к ковбойке и придерживала на всякий случай, чтоб не потерялся.

– Она сейчас вилочку проглотит! – закричала Вика, указывая на Чельшеву, обкусывающую по краю бутерброд. Голову Мария наклонила так низко, что русые косички с распустившимися лентами лежали в тарелке.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
Вика схватила вилочки с ее тарелки и засунула все черенки в рот, так что наружу торчали разноцветные зубья.

– Как ты себя ведешь, бессовестная, – громко зашептала Гайка.

– А тебе какое дело, мне так родина велела! – шепеляво ответила Вика, и опять все покатались со смеху.

Не смеялась только Лиля Жижморская. У нее между форменным платьем и фартуком лежал сюрприз, и она терпеливо ждала подходящей минуты. Ей казалось, что минута эта не настала еще, и она нащупывала пальцами пачечку, но в это время Вика вылезла из-за стола и вытащила из алькова, с многоспальной кровати, большого нежного мишку – узкоплечего, с толстым задом и волнисто-плюшевым телом.

– Это Тедди, – назвала его Алена.

– Точь-в-точь дядя Федя, – немедленно отозвалась Вика.

И опять все засмеялись. Он действительно и грушевидностью фигуры, и загадочной целенаправленностью высунутой вперед морды смахивал на школьного дворника дядю Федю.

Вика посадила медведя к себе на колени и стала кормить его с вилочки...

Всем было по десять, только Колывановой уже исполнилось одиннадцать, и они по обязанности своего зрелого возраста вынужденно расставались со своими куклами. Новые, книжно-школьные обстоятельства превращали кукольную игру во что-то детское и постыдное, требующее укрытия. Хотя бы под ночным одеялом. Даже у серьезной Жижморской была такая подподушечная куколка, которую она по утрам прятала на книжную полку, за учебники. Одна только Вика, страстная душа, влюбленная в каждое свое ежеминутное желание, ничего не стеснялась. Она усадила медведя на колени, прижала к боку и сладким голосом начала его уговаривать:

– Еще ложечку, мишенька! За маму! За папу! – И, не выдерживая заранее известной роли, сбивая весь серьезный обряд кормления в потеху, добавила:

– За всех мишек в зоопарке!

Глаза у них с мишкой были совершенно одинаковые: коричневые, пуговично-блестящие, с нежной розовой обводкой.

Хозяйка же, не стерпев искушения, уже вытягивала из ящика раздвижного дивана целую труппу разнокалиберных фигуранток. Алена уже несколько месяцев к ним не заглядывала и испытала теперь мгновенную сладость встречи с Элис, Кити, Бетси, Джун – американскими красотками, уже чуть двинувшимися в том опасном направлении, где спустя несколько десятилетий их ждала полная и окончательная смерть в виде миллионной армии Барби, похожих между собой, как сторублевки.

Гайка вцепилась в длиннокудрую Бетси. Вика, безжалостно бросив медведя, ухватила себе чернокожую Джун, пламенный ротик которой был завлекательно – с точки зрения кормления – приоткрыт, и оттуда, из красной глубины, мерцали настоящие фарфоровые зубки.

На колени Колывановой великодушная Алена положила младенческую Кити в ползунках, с болтающейся впереди крошечной, но вполне настоящей пустышкой и с изумительными искусственными глазами пестро-голубого цвета.

Жижморская и Чельшева деликатно, но настойчиво тянули каждая в свою сторону длинноногую Элис, и та совсем по-человечьи мотала льняным хвостом, завязанным на маковке...

Алена отобрала у них Элис, свою всегдашнюю старшую дочку, и вынула из прямоугольной диванной темноты еще двух кукол – кудрявую барышню в пелерине и куклу-мальчика в матроске и совсем настоящих кожаных ботиночках на пуговицах. Эти две куклы были старинными.

Все дружно вздохнули и выдохнули. Эта пара была так небесно прекрасна, что до них и дотронуться было страшно, не то что вступать в интимно-родственные



Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
отношения, необходимые для игры. Что и подтвердила немедленно Алена:

– Мама мне их никогда не давала. Говорит, это семейная лериквия, а не игрушка.

Алена иногда путала трудные слова.

Девочки склонились над лежащей на краю кровати парочкой и осторожно потрогали шелковистые волосы барышни, кожаные ботиночки мальчика. Глаза у них, лежащих, были закрыты, но не плотно. От длинных ресниц ложилась зубчатая тень на фруктово-ягодный румянец щек. Алена вела одноклассниц, как экскурсовод:

– Ресницы моя мама им подрезала, когда была маленькая. Маме было обидно, что они слишком уж длинные. В Самаре, где бабушка жила, у них был дом деревянный, и еще до революции дом сгорел, все-все сгорело, а на другой день пришла знакомая портниха и принесла этих кукол, потому что Счастливику пальтишко шила, а княжне новое платье. Бабушка им тогда заказала новую одежду, потому что моя мама должна была родиться. И оказалось, что это было все, что после пожара осталось.

От этих слов девочки совсем уж притихли, и даже трогать кукол расхотелось. И посреди задумчивой тишины раздался вдруг звонок в дверь.

– Мама ваша, – в тихом ужасе прошептала Колыванова.

Алена пожала плечами:

– Нет, это не мама. Они сегодня поздно придут, у них вечер в министерстве.

Действительно, пришли Пирожкова с Плишкиной. Толстая Плишкина все-таки уговорила Пирожкову и сияла теперь ангелически-дебильной улыбкой, и пухлые щеки ее промялись глубокими ямочками и складочками.

Гордая Пирожкова, младший отпрыск знаменитой цирковой семьи, давно уже запущенная в семейную стезю акробатики, небрежно взяла Счастливику и сказала равнодушным голосом:

– У меня точно такой же есть.

«Врет», – подумали все.

– Врешь! – сказала Вика.

Только что они были готовы тронуться в стройно-вымышленную жизнь, где правка неудовлетворительной реальности игрой превращает эту реальность в справедливую и упоительно податливую и весь мир покорно ходит по кругу, куда его пошлют: то на охоту, то на базар, и послушные дети, кротко приняв условно-заслуженное наказание, смиренно подчиняются божественной воле мамы.

Но теперь играть почему-то расхотелось.

Это и была та минута, когда Жиха достала свой сюрприз и торжественно произнесла:

– Смотрите, что у меня есть!

Сначала показалось, что ничего особенного. Это был всего-навсего набор довольно старых открыток. Лиля разложила их на покрывале, и девочки встали на колени перед кроватью, чтобы их рассмотреть.

Там была сумрачная красота. Из лиловых и желтых одежд выглядывали длинноносые красавицы с почти сросшимися глазами под одной, с изгибом над переносицей, бровью. Замершие жесты их вывернутых рук и сложноподчиненных ног были гимнастическими и неестественными.

У той, что сидела с сазом, были золотые браслеты на лодыжках, туфельки как золотые перчатки, и соски двух нестерпимо голых грудей тоже были золотыми.

Одна танцевала, другая любовалась своим отражением в круглом бронзовом зеркале; две обнимались, сплетя ошарованные ноги. Впрочем, возможно, одна из них была мужчиной, но это вообще значения не имело.

Некая в густо-желтом, с огромным зеленым камнем на лбу, держала в руках – о Господи! – книгу, тогда как второй изумруд выглядывал из пупка. Еще одна томно обнимала маленькую газель с девичьим лицом. Там были причудливые золотые клетки с вымышленными птицами, состоящими в родстве с орхидеями, преувеличенные гранаты на карликовых деревьях, драгоценные фонтаны с синей, вертикально замершей водой, кувшины, веера и шкатулки. И пухлый седобородый старец в синем звездном халате и в головном уборе, напоминающем громоздкий абажур. В середине его маленькой не правдоподобно отогнутой ладони стояла рослая змея, подогнув под себя конец сложенного крендельком толстого хвоста.

Все на этих наивных картинках взаимно любило и ласкало, всякое прикосновение рождало наслаждение: шелка к коже, пальцев к кувшину, веера к воздуху, и это любовное притяжение материи, мощное и невидимое, как жар от печи, изливалось наружу, пронзив девочек с силой и новизной и требуя от них чего-то, а чего именно – неизвестно.

– Сейчас! Сейчас! Я знаю! У меня есть! – догадалась Алена и понеслась, скользя на плоскородных кожаных подошвах, в коридор, к сундуку, заваленному густо воняющей мокрой шерстью и мехом.

Она сбросила всю эту гору на пол и маленькими пальцами с глубоко обрезанными ногтями стала отковыривать глухую плоскую защелку сундука. Та медленно, с большим протестом, подалась. Вторая уже не сопротивлялась.

Стоя по колено в куче скомканной одежды, Алена с трудом подняла крышку, и на всех повеяло сладким нафталиновым духом. Несколько насмерть убитых иностранных газет лежали сверху. Алена сдернула их и нырнула в сундук, сверкнув ярко-белыми трусиками.

Она вынимала распластанные вещи одну за другой: черное бархатное платье с вышитым как будто рыбьей чешуей лифом, еще одно вечернее платье, с гербарным букетом у сердцевидного выреза, и целую кучу капитулировавшего некогда шелка: бледно-табачное кимоно на алой, в багровых хризантемах подкладке, еще кимоно и целый выводок шелковых пижам невозможных в этих широтах оттенков.

Девочки с благоговейной осторожностью, как сонных детей, передавали с рук на руки эту драгоценную шелуху, вышедшие из моды туалеты дипломатической жены, чувствовавшей себя комфортно исключительно в темно-синем бостоновом костюме, с его добротной двубортностью и почтительной преданностью телу и делу.

Сам дипработник, жарко влюбленный в жену и исполненный нескончаемой благодарности за то неописуемое счастье, которое он ежевечерне находил в одном и том же никогда не приедавшемся ему месте, в те американские годы щедро заваливал ее недорогими американскими туалетами. Жена не нуждалась в конфекционной стимуляции, но благосклонно ее принимала, в результате чего большая часть его военно-дипломатических заработков была претворена в шелк, бархат и вискозу. Нейлон тогда еще только собирали по молекулам.

Эту материализованную благодарность и восхищение давних лет раскладывали теперь десятилетние девочки на счастливом супружеском ложе, меж прекрасных, немецкой печати, репродукций поздней иранской живописи. Ни видом, ни цветом, ни запахом не сопрягалось одно с другим, но это и не имело никакого значения, потому что вся прелесть этой игры в том и состоит, что она творится из любого подручного материала, лишь бы только был включен ток высокого притяжения между розовым и голубым, мягким и твердым, влажным и сухим...

Пирожкова Ира, искоса поглядывая на открытку, уже изгибала свой подвижный хребет и не знающие ограничения суставы, чтобы принять ту идеальную позу, которую изобразил никогда не изучавший анатомии художник и принять которую ее живое человеческое, хотя и хорошо тренированное, тело отказывалось.

– Я надена вот то, красное, – решительно сказала Вика и стала натягивать поверх клетчатого байкового платья пунцовую тунику в хищных золотых цветах, – и буду вот той! – и она ткнула пальцем в облюбованную картинку.

– Да ты платье-то сними, – посоветовала сестра, и Вика стянула с себя серо-коричневую клетку.

Исподнее девочек тех лет было придумано врагом народа человеческого в целях полного его вымирания. На короткие рубашечки надевался сиротский лифчик с большими, в данном случае желтыми, пуговицами. К лифчику крепились две ерзающие резинки, которые пристегивались к коротким чулкам, впивающимся в плотные Викины ноги уже под коленками. На все это надевали просторные штаны, именуемые не по чину «трико», и вся эта сбруя имела обыкновение впиваться, натирать красные отметины на нежных местах и лопаться при резком движении. Белье взрослых женщин в ту пору мало чем отличалось и должно было, вероятно, гарантировать целомудрие нации.

– Быстро все переодеваемся! – приказала Алена и, заломив руки за спину, расстегнула трудные мелкие пуговицы, увязающие в еще более мелких петлях.

Пирожкова проворно выскочила из скучной одежды и, сверкнув профессионально мускулистой спиной, сунула ноги в широкие рукава черно-полосатой пижамы и с цирковой лихостью плотно обмотала лишнюю ткань вокруг мальчишеских бедер. Представленная двумя бледными прыщиками будущая грудь требовала достойного прикрытия, и глаза ее под длинной челкой заматались в поисках подходящего предмета.

Челышева, расстегивая коричневое форменное платье, шевелила лисьим носиком с острым подвижным кончиком, прикидывая, что бы ей выбрать, и ее просыпающееся чутье безошибочно остановилось на бледно-табачном.

Колыванова, опустив тяжелые руки, стояла столбом посреди комнаты, осмысливая заманчивое и пугающее предложение.

Лиля Жижморская меланхолично стягивала плотный резинчатый чулок и все поглядывала на открытку со змеупорным старцем. Слабый режиссерский позыв шевельнулся в ней:

– А Плишкина пусть будет волшебником!

Алена возмутилась:

– Какая Плишкина? При чем тут Плишкина? Волшебником будет Колыванова, она самая длинная!

Это прозвучало убедительно, но Колыванова, держась большой красной юбки, полыхала смущением и никак не могла решиться.

Кукол отодвинули. Та прежняя игра, едва тронувшись в рост, увяла. Разложенные по краю кровати открытки приглашали к новой. Акт переодевания был уже состоявшимся прологом, но условия были неизвестны, и наступила заминка.

Жиж, все еще в одном чулке, некрасиво выглядывающем из-под сладко-розового шелка, обернулась к книжному шкафу и прицелилась обещающим близорукостью взглядом в корешки.

С Колывановой содрали юбку и напялили сине-зеленый халат с большим горящим драконом на спине. Два других дракончика, поменьше, были вышиты спереди, и втроем они вполне заменяли отсутствующую змею. На голову Колывановой надели меховую ушанку Алениного отца, обмотав ее оранжевой пижамой и елочной канителью. Малиновые пижамные штаны, преобразованные в шальвары, выглядывали из-под халата. Неподвижно и величественно стояла Колыванова, пока Алена рисовала ей усы и бороду, макая тонкую кисточку в квадратные фарфоровые отделения с жирной мягкой краской, изъятая из материнского туалетного стола. Усы получились, а борода не удавалась. Пришлось прилепить к подбородку кусок новогодней ваты.

Прозрачная коробка с дешевыми украшениями – девочки называли их блестяшками – была вывернута на стол, и все пошло в ход. Алена, сверкая большим красным стеклом, сползающим со лба на короткий веснушчатый нос, щедро раздавала в протянутые руки колье и клипсы.

Все завертелось пестро и стремительно, и само время, дрогнув, отступило. Последующие три часа расстелились вечнозеленым знойным островом в океане равномерных минут и часов обыденности.

Прижимая к животу толстую большеформатную книгу в картонно-жидком переплете, Лиля выскользнула из комнаты и приткнулась в кухне, на табурете, уютно уложив под зад голую ногу.

Книга раскрылась на случайном месте, и Лиля прочла: «Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный...» Ей понравилось.

Вслед ей из комнаты выплеснулось немного скрипучей патефонной музыки, но Лиля уже ничего не слышала.

Растопырившую острые колени Колыванову усадили на кровати. Она сидела болван болваном. Вата лезла в рот, головное сооружение валилось то на одну сторону, то на другую, и от него было жарко. Пирожкова стояла над ней с голым животом и делала какие-то маленькие движения, которые еще не были танцем, но собирались им стать.

Сестры Оганесян распустили свои конского волоса косы, окончательно зачернили нимало в том не нуждающиеся могучие армянские брови и покрасили густо кровавым рты, отчего сразу возмужал детский пушок над верхней губой.

Вика сверилась с открыткой, заключительным движением провела бордовые жирные стрелы от наружных углов глаз к вискам и твердо сказала;

– Ты, Ир, танцуй, ты, Колыванова, сиди, а мы будем жених и невеста.

– Ты дурочка, что ли? – добродушно удивилась Плишкина. – Кто невеста, тот в белом платье.

Пирожкова уже растанцевалась: выламывала крылышки, задирала свои куриные ноги выше головы и не обращала никакого внимания на интересную дискуссию.

– Тебе нравится, ты и надевай белое, а мы так будем. Ты что, не понимаешь, здесь же все турецкое! – объяснила снисходительно Чельшева.

При слове «турецкое» Гайка с Викой переглянулись: про турецкое они кое-что слышали, и то было дело не сказочное, не шуточное, а страшное и тайно-домашнее, о чем с чужими не говорят.

Плишкиной все-таки была выдана белая простыня – в сундуке не нашлось ничего белого, кроме двух теннисных юбок такого маленького размера, какой Плишкиной никогда не суждено было носить.

Невест, следовательно, образовалось три, да и Алена уже стягивала за подол расшитое платье, чтобы надеть что-нибудь невестинское.

– Ален, ты что? – забеспокоилась Чельшева, – Ты посчитай, сколько невест получается? Четыре, да? А женихов? Я и Ирка, два!

– Я не буду женихом, я танцовщица! – крутя подбородком и выворачивая кисти, бросила Пирожкова.

Дед ее, воспитатель и тренер, не только веревчато-крепкие мышцы ей нарастил, но и в характер ей влил такие нити, что любое дело она делала насмерть, дотла, до полного уничтожения. Случалось, он из тренировочного зала выносил ее на руках. Вот и теперь она ввинтилась в этот танец и все раскручивала свое тело, чтобы принять ту позу, которую держала девица на открытке и к которой она все приближалась, но не окончательно. Особенно не получались именно кисти рук.

– Что же я, одна на всех жениться буду? – возмутилась Чельшева.

– Пусть, пусть, даже хорошо, – обрадовалась Алена, отпуская тяжелый подол. – Колыванова будет отец-шах, я шахиня, а они дочери, три сестры и невесты, и мы их разом за одного жениха и выдадим.

Вид у Алены был такой довольный, как будто она первой контрольную по математике написала.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru

– Нет, вы как хотите, а я так не хочу, я хочу себе отдельного мужа, – разрушила Вика стройный Аленин замысел.

– Да ведь все равно, Вик, играем же, – с глупой и милой улыбкой миротворила, как обычно, Плишкина.

– Раз тебе все равно, вот и будь женихом, а не невестой! – живо отреагировала Вика.

– Хорошо, – легко согласилась Плишкина и стала стаскивать обмотанную вокруг цилиндрического туловища с толстенькими бесполоыми грудными складками простыню. – Я могу и женихом, пожалуйста.

– Отлично! – обрадовалась Вика. – Мой жених будет Чельшева, а Гайкин – Плишкина!

Все уже почти сладилось, но Гайка, которая все искоса ловила в большом зеркале свое отражение в профиль, неожиданно взъерепенилась:

– Нетушки! Машка будет мой жених, а ты бери себе Плишкину!

– То есть как? – изумилась Вика.

– А так... – Гайка влажным взглядом посмотрела на сестру. – Я не хочу Плишкину.

– Это почему же? – угрожающе спросила Вика.

– Не хочу, – кротко, но окончательно заявила Гайка. – Сама бери себе Плишкину.

Плишкина замерла с простыней. Алена сосредоточенно занималась спадающей на нос диадемой. Страшное предчувствие коснулось Вики. Горло ее сжалось так сильно, что пришлось несколько раз глотнуть, чтобы прошло это ощущение замыкания и тесноты. Тень будущего упала в сегодняшнее существование, и тень эта была ужасна: у Гайки оказались какие-то дополнительные права, по которым она без усилий будет получать от жизни то, что Вика должна будет вырывать с боем...

– Нет, – твердо сказала Вика. – Плишкина мне не нужна.

– Значит, как я сказала, – обрадовалась Алена. – Мы трех дочерей выдаем замуж за одного жениха. Зато он королевский сын и зовут его... Мухтар!

– Только не Мухтар! – засмеялась Чельшева. – У нас на даче овчарка Мухтар!

– Тигран, – мечтательным хором произнесли сестры. Был у них троюродный брат в Тбилиси, бровастый, сероглазый, с сиреневым румянцем, просвечивающим сквозь тринадцатилетний пух.

– Давай, давай, пусть Тигран, – согласилась Чельшева.

– А мне чего делать? – робко спросила Кольванова, которой давно уже хотелось в уборную.

– А ты сиди. Я сейчас рядом с тобой сяду, – сказала Алена, и Кольванова, поерзав, снова замерла врозь коленями.

...Потом все опять сели за стол, налили остатки грушевой воды в высокие стаканы и, не найдя среди высыпанных на стол драгоценностей подходящего, стали катать из фольги и цветных ниток обручальные кольца. Стройный жених с кухонным ножом за поясом держал в горсти целых три, чтобы оделить каждую из сестер, а невесты стояли у стола в затылок друг

– Горько! – закричала истошно Алена.

Все подхватили. Тигран обменялся кольцами с Викторией, поцеловал ее и лихо выпил лимонаду. Далее последовали Гайка и Плишкина. Три толстых кольца из фольги украсили мужественную руку жениха. Лимонад допили до последней капли. Свадьба в общем прошла как-то неубедительно. Явно чего-то не хватало. Впрочем, и во взрослой жизни тех лет тоже отмечалась какая-то нехватка, заполнявшаяся обычно

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
пьяным свадебным безобразием, выставившим, как глухая крапива на пустоши.

Гайка же, не заметив незаполненного пространства, уже пеленала на кровати куклу Кити, по величине приближавшуюся к натуральному младенцу.

– А теперь у меня будет как будто дочка! – объявила Гайка.

– Как же, дочка! Быстрая какая! – заметила скептически Колыванова-шах. – А это самое? – И она просунула указательный палец правой руки в колечко, сложенное большим и указательным левой.

Все замолчали.

– Что? – переспросила Гайка.

– Это самое, от чего дети бывают, – уточнила Колыванова, работая указательным пальцем правой руки в означенном направлении.

Неукротимая Пирожкова, как заведенная, все продолжала танцевать руками, но уже перешла в партер. Она лежала на полу, прижав ступни к затылку, и крутила кистями в надежде их все-таки вывернуть.

– Тань, – просительно, умоляюще сказала Гайка, всей душой надеясь, что ей удастся переубедить Колыванову. – Ну, женятся мужчина и женщина, и от этого дети бывают...

– Ты что, не знаешь? – Колыванова покрутила пальцем у виска. – Маленькая совсем, да?

Плишкина засмеялась, Алена переглянулась с Чельшевой.

– Единожды один – приехал господин, – эпически начала Колыванова, – дважды два – пришла его жена, трижды три – в комнату вошли, четырежды четыре – свет погасили...

– Да знаю я это, знаю, – перебила ее Гайка.

– Да ничего ты не знаешь, – сурово ответила Колыванова. Не так уж много чего она знала, но это уж она знала точно... И потому продолжала:

– Пятью пять – легли на кровать, шестью шесть – он ее за шерсть...

– Не надо, – попросила Гайка, но Колыванова жестоко продолжала:

– Семью семь – он ее совсем, восьмью восемь – доктора просим, девятью девять – доктор едет, десятью десять – ребенок лезет! Поняла, да?

– Это когда... это называется... – забормотала пораженная догадкой Гайка.

Алена была светским человеком и, почувствовав неловкость, сразу нашлась:

– Ты спроси у Лильки, как это называется. Она все знает.

Гайка, прижимая куклу к груди, пошла на кухню. Лиля сидела на табуретке, уже поменяв ногу, так что болталась теперь голая, и зрочки ее быстро-быстро бегали по строчкам.

– Лиль, – тронула ее за плечо Гайка, – скажи, только честно, как называется, от чего дети рождаются?

Лиля подняла отвлеченный взгляд, немного подумала и сказала очень серьезно, немного охрипшим голосом:

– Косинус, – и снова уперлась в книгу. Бабушка ей все честно, по науке рассказала еще в прошлом году.

У Гайки немного полегчало на душе. Косинус – это все-таки косинус, а не то ужасно-ругательное заборное слово. Однако по дороге в комнату ее неприятно поразила мысль, что, пожалуй, и ее собственные родители, желая произвести их на

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) свет, тоже делали этот косинус... Впрочем, может, есть какой-то более приличный способ, о котором и Лилька не знает...

Она вошла, когда Чельшева, Плишкина и Вика барахтались втроем на кровати, изображая великий акт, а Колыванова, переминаясь с ноги на ногу и снисходительно улыбаясь, махала рукой и повторяла:

– Да не так, не так, и не похоже совсем! И ноги подымать надо!

...Училась Колыванова плохо, в школьной столовой сидела за отдельным столом, где кормили «бесплатников» дармовыми завтраками, форму ей покупал родительский комитет. И всегда у нее чего-то не хватало: то тапочек, то мешка для галош, то физкультурной формы. Последний, совсем последний человек была она в классе. И вдруг оказалось, что она знает о вещах взрослых и тайных, и знает как-то запросто, и таким бесстрашным ежедневным голосом об этом говорит. Из сонной верзилы-второгодницы она на глазах превращалась в очень значительную персону. Все смотрели на нее с выжидательным интересом.

Но Колывановой так хотелось в уборную, что она даже не могла оценить своего неожиданного взлета,

– А как, Тань? – спросила Вика, стоящая на четвереньках на кровати.

– Да здесь вообще не годится, – критически постучала Колыванова рукой по кровати. – Слишком широко. Надо, чтоб место было узкое и тесное. И темно.

– Так под столом же! – обрадовалась Плишкина. Колыванова с сомнением подняла край скатерти, заглянула под стол.

– Две подушки надо, – наморщила она лоб. – Ну, и постлать там надо. И сверху чем прикрыть. Организовали брачное ложе.

– Чур, я первая! – нетерпеливо подпрыгивая, закричала Плишкина

Жених уже лежал в темном низком доме со стенами из шевелящихся сквозь скатерть полос света, движущихся ног и неподвижных ножек стола и черных стульев, и эта подстольная тьма обязывала его к чему-то страшному и таинственному.

А Плишкина, сдвинув могучим плечом Алену вместе со стулом, шумно лезла под стол. Затолкавшись туда, она тихо хихикнула:

– Эй, жених, где ты?

Своим глупым хихиканьем она сбила все, и жениху пришлось перестроиться:

– Ползи, ползи сюда.

Невеста приползла и полезла обниматься. Она любила всякие объятия, касания и тайные телесные движения. Был у нее некий малый, но приятный опыт. Она обняла жениха, сразу стало тесно и душно.

– Давай по-настоящему поцелуемся, как в кино, – предложила она, – как дяденьки с тетеньками, – и подставила раскрытый рот прямо к носу жениха.

Он пытался вывернуться, но изгородь ног и ножек не выпускала, и ему пришлось приложиться сухообветренными зимними губами к горячему и мокрому плишкинскому рту. Наверху все было очень тихо.

– Я сейчас покажу тебе, как сделать очень приятно. Так горячо, горячо, – пообещала Плишкина.

Пригнув голову, она села на низкую перекладину, задрала простыню и, положив одну толстую ногу на другую, указательным пальцем влезла в самую середину треугольничка.

– Дай руку, я тебе покажу! – зашептала на ухо Плишкина.

– Дура ты, – фыркнула Чельшева. Она про этот номер и сама знала. Только не

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
знала, что и другим он известен.

Плишкина немного поколыхалась, попытала и сказала обиженно:

– Честное слово, я не вру: так хорошо там делается...

Но жених шарахнулся и выскользнул из-под стола. Плишкина, розовая и влажная, как испугавшийся поросенок, вылезла на поверхность.

– Гайка, полезай теперь ты! – пригласил жених, и Гайка, цепляясь широкими рукавами за спинки сразу двух стульев, нехотя полезла под стол. Жених протискивался с другой стороны.

– Это я, Тигран, – услышала Гайка хриплый шепот. И закрыла глаза. В прошлом году, в бабушкином саду в пригороде Тбилиси, они играли с Викой, а Тигран, пришедший в гости вместе с их общей теткой, смотрел с высокой веранды в их сторону. Вика сказала сестре тихонько, не поворачивая головы: смотри, на нас смотрит.

Гайка знала, что смотрит он именно на нее, и отвернулась. Вика ни с того ни с сего захохотала и, одернув юбочку, сделала «ласточку», высоко подняв крепкую ножку и растопырив руки.

Гайка лежала, сильно сжав веки. Он склонился над ней, опершись одной рукой о подушку возле ее головы и больно прижав прядь волос. Второй рукой он раздвигал колени.

Дыхание перехватило. Такой глубокий и полный ужас она испытывала только во сне, на выходе из младенчества, и, просыпаясь среди ночи с долгим припадочным криком, затихала на руках отца, который часами носил ее на руках.

Тигран лег на нее сверху.

– Ты не бойся, тебе будет приятно и горячо, – прошептал он.

– Ты что, по правде? – ужаснулась Гайка. – Не надо, Тигран.

– Дура ты! Понарошке, конечно! – засмеялась Чельшева, и тут только Гайка поняла, что никакого Тиграна и не было. И она тоже засмеялась.

Бахрома приподнялась, и просунулось криво повернутое лицо Вики.

– Ну, давай скорее, моя же очередь! – торопила она.

Пока жених осваивал последнюю невесту, Алена деловито привязывала к Гайкиному животу, под лимонную пижаму, большую куклу.

– Так? – уточнила она у Колывановой. Колыванова кивнула.

«Ну все, сейчас обоссусь», – подумала в отчаянье Колыванова и, плотно сдвигая ноги, пошла к двери.

– Ты куда? – удивилась Алена.

– Домой, – лаконично ответила Колыванова, чувствуя, что у нее внутри все разрывается, и одновременно отметив про себя, что хоть ковра-то она теперь не испортит.

– Еще не доиграли, – растерянно сказала Алена.

– Мамка заругает, – сумрачно ответила Колыванова, почти не разжимая губ. Ей казалось, что, разожми она губы, так и польется. Спросить же, где уборная, ей и в голову не приходило.

– Самое интересное начинается, а ты... – разочарованно протянула Алена, огорченная потерей столь ценного эксперта.

Но Колыванова уже натягивала пальто, удачно оказавшееся поверх всей кучи. Шапка



Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) была в рукаве, а рукавицы и шарф она искать не стала. Оттянув легкий блестящий рычаг замка, она выскочила на площадку. Внизу урчал лифт. Наверху, полупролетом выше, была укромная тьма перед низкой чердачной дверью. Она поднялась туда и, чувствуя, что уже опаздывает, стянула с себя штаны и надетые поверх жгуче-малиновые шаровары, присела, и в тот же миг из нее брызнул лимонад, химически низложенный, но не изменивший своего соломенно-желтого цвета.

«Сейчас поймают», – мелькнуло у нее, и она хотела остановить поток, но это оказалось невозможным. Лифт щелкнул, хлопнул, снова загудел. Ручеек из-под ее подобранного пальто стекал по лестнице вниз, намереваясь предательски излиться на нижнюю площадку, но замедлился и стал растекаться грушевидной лужицей. Она проворно натянула штаны, обтерла ладонями мокрое от незамеченных слез лицо и, грохоча ботинками, понеслась вниз по лестнице легко и свободно, со странным ощущением стремительного движения вверх, а вовсе не вниз. Переживая остатки волнения, едва не состоявшего позора и чудесной телесной радости, она вприпрыжку бежала домой, где мать ее вовсе не ждала, поскольку вышла сегодня в ночную смену.

И только дома, под ошалелыми взглядами старшей сестры и двух младших братьев, она опомнилась, что убежала в чужом, а сестрина красная юбка и ее новая ковбойка с приколотым на груди ангелком остались у Алены.

А дома, в их узкой комнате с половиной окна, пахло керосином, и старым ночным горшком, и свежими пирогами, которые перед работой напекла мать, и было так хорошо и так плохо, что Колыванова бросилась на материнскую кровать, пережившую на Таниной памяти четырех отчимов, и, сверкая золотым драконом на сине-зеленой спине, громко заплакала в подушку...

...Беременные жены лежали поперек кровати и собирались рожать.

– Вика и Плишка пусть мальчишек родят, а Гайка девочку, – высказал пожелание муж, но Алена неожиданно грубо отшила его:

– А ты иди коляску покупай, вот что!

– Ты что, я же принц! Какая коляска! – возмутился незаметным для себя самого способом свергнутый принц Тигран.

– У нас уже давно другая игра, а ты все принц! – дернула плечами Пирожкова, которой в конце концов надоело танцевать и она преобразилась в доктора.

Алена на большой тарелке раскладывала фруктовые ножички из серванта и какие-то неопределенного назначения щипчики.

– Это будут инструменты, – объяснила она, ставя на кровать тарелку. – Все стерильное.

Не так давно ей удаляли аппендикс, память была свежей.

– Да зачем инструменты? – удивилась Плишкина.

– Ты не знаешь? Лилька говорит, что, когда через пиписку не проходит, живот разрезают, – пояснила Пирожкова. – Операцию делают. Очень даже часто. А чего ты так лежишь, ты стони. Это же ужас как больно. Мне мама говорила.

Плишкина громко и очень удачно застонала. Басовито подхватила Вика. Гайке эта игра давно надоела. Придерживая на животе куклу, она вспоминала, как Тигран стоял на веранде и смотрел на нее. «Вырасту и выйду за него замуж», – решила она.

– Ну, давай скорее, надоело! – заныла Плишкина.

– Все, все готово! – докторским голосом сказала Пирожкова. – Штаны снимайте.

Роженицы стянули шелка пижам. Они уже забыли, с чего это они развели все это переодевание, и даже не замечали, что лежат заголенными задками на Лилькиных открытках.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya1udmila.ru](http://litskaya1udmila.ru)  
– Ой! Ой! – очень натурально сказала Плишкина. Она была большой притворщицей и натренировалась на своей любвеобильной матери.

Пирожкова тупым фруктовым ножом раздвинула пухлую складку. Бледно-розово и влажно мелькнула моллюсковая изнанка. Плишкина захихикала – щекотно!

Алена стала потихоньку толкать вниз по животу куклу.

– Да нет, не так! Не похоже! – вмешался отосланный было за коляской разжалованный принц. – Лучше вот эту возьми, но откуда надо, по-настоящему! – Ему, как отцу, хотелось правдоподобия, и он сунул в руку Алене маленького целлулоидного гольша.

– Лилька говорит, они рождаются головкой вперед, – предупредила Пирожкова.

– А я как будто не могу родить и вы мне делаете операцию, – попросила тщеславная Вика.

– Да подожди ты, сначала я! – рассердилась Плишкина, которую, как ей казалось, все время оттирали.

Пирожкова, под тонкое хихиканье Плишкиной, уже ввинтила гольша в нужное место, и маленькая его головка с парикмахерской прической торчала наружу, как розовый пузырь.

– А теперь схватывайся! Схватки должны быть! – посоветовала Алена, и Плишкина схватилась руками за свои бока.

– Ну, давай, что ли! – торопил врач. – Рожай!

Пирожкова потянула гольша за голову, но Плишкина как-то удержала его внутренним усилием. Тогда Пирожкова надавила на головку, так что она почти исчезла из виду, а потом дернула. Плишкина пискнула:

– Эй, ты чего, больно же!

Ребенок родился. Пирожкова положила его на тарелку рядом с инструментами, и Алена помогла ей совершить запланированную подмену – сунула ей в руки большую куклу, которая, собственно, и должна была родиться, но временно была отставлена.

Плишкина пеленала куклу и капризно требовала:

– Пап! Ну ты давай, встречай! Ты должен меня встречать! Из роддома всегда встречают!

У Плишкиной тоже был кое-какой жизненный опыт.

Алена уже делала Вике кесарево сечение, проводя фруктовым ножом поперек живота.

Гайкина очередь так и не подошла, поскольку позвонила бабушка и спросила, не пора ли за ними прийти. Почти одновременно раздался звонок в дверь: за Чельшевой пришла домработница Мотя, и Маша, у которой как раз разболелась голова, без всякого сопротивления дала себя увести – к большой неожиданности для Моти, собиравшейся долго и терпеливо выманить противную девчонку из гостей.

Все вдруг почувствовали себя усталыми. Плишкина даже и проголодалась, доела последние бутерброды. Вилочки лежали на столе, никому не интересные.

Снова зазвонил телефон. Это была Бела Зиновьевна, Лилина бабушка. Лиля ее горячо уговаривала:

– Белочка! Ну еще полчаса, пожалуйста! Мне совсем немного осталось!

– Чего тебе немного осталось? – удивилась Бела Зиновьевна.

– Дочитать. «Старуху Изергиль»... Там совсем немного... так интересно... – умоляла Лиля, такая же розовая и возбужденная, как и все остальные.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
Все гости разошлись почти одновременно, и Алене это было очень обидно.

...Пришедшие в половине двенадцатого Аленины родители были ошеломлены: дом был разгромлен, буквально вывернут наизнанку. Только что мебель стояла на прежних местах. Они молча переглянулись.

Алена спала на их кровати в алькове, среди смятых открыток и серебряных фруктовых ножей, в старом вечернем платье матери. Отец поднял спящую девочку, и мать увидела, что лицо ее пылает. Она тронула ладонью лоб и покачала головой.

– Аспирин? – тихо спросил муж.

– Минуту погоди, я ей постелю. Потом сообразим. – Она была хладнокровной женщиной, не подверженной панике.

...И Плишкина заболела в ту же ночь. Она сильно металась, сбивая в ком одеяло. Мать простояла над ней до утра. Полупросыпаясь, девочка просила пить, и мать бережно подносила к ее губам синюю фарфоровую кружку с теплой кипяченой водой. Она выпивала и снова оказывалась в том же страшном сне: над ней угрожающе склонялся большой старик с острой черной бородой, дышал на нее горячим воздухом, и был он фининспектором, которого так сильно боялась ее мать, дорогая домашняя портниха, много лет работавшая без лицензии.

К утру Плишкина проснулась окончательно, улыбнулась матери всеми своими очаровательными ямочками и запятыми, выпила еще одну кружку воды. И лицо ее, и большое жидковатое тело было усеяно красными шершавыми звездочками. Она пописала над большим горшком. Внутри немного пощипало, но она не обратила на это внимания. Дефлорация была столь нежной, что самый факт ее никогда не был осознан, и ото всей этой истории остался у Плишкиной на всю жизнь мистический страх перед фининспектором, который склонялся над ней с неопределенной угрозой.

Девочки Оганесян заболели только через сутки, но высокой температуры у них не было, их ветрянка прошла в легкой форме. Высыпание было небольшим, и бабушка сразу же прижгла папулы луковым соком, а не зеленкой, как было тогда принято. Бабушка велела им лежать в постели и всячески ублажала и развлекала. Рассказывала о зоках, от которых происходила, и пела зокские уныло-прекрасные песни огромным и тонко вибрирующим на высотах голосом.

Мать девочек, как всегда, безучастно сидела в кресле.

Заболели также Маша Челышева и Ира Пирожкова. У Кольвановой был иммунитет с младенчества.

Лиля Жижморская тоже не заболела. Но и ей в эту ночь снился неприятнейший сон: как будто за ней приехали родители, и почему-то не в городскую квартиру, а на дачу. И она сидит в какой-то телеге и странным образом, спиной, видит за стеклом террасы очень белые лица бабушки и дедушки и замечает, что терраса похожа на вольеру зоопарка – есть какая-то дополнительная железная сетка за стеклом, как в обезьяннике. Телега начинает двигаться сама собой, но это почему-то не вызывает удивления. Сама Лиля сидит между родителями. Мать придерживает ее крупной рукой, а рука ее покрыта жесткими колючими волосами, как щека небритого мужчины. Отец в военной форме. Лица его не видно.

Дорога же начинает углубляться, так что обочины делаются все выше, и Лиля с ужасом понимает, что дорога ведет под землю и что все это не сон. Последнее, что сохранилось в памяти, была шелковая толпа восточных красавиц, встречающих ее на въезде в сырую темноту. Они протягивают к Лиле светящиеся полупрозрачные руки, приглашая в свои шелестящий круг, и Лиля с облегчением догадывается, что спасена...

Вместе с ветрянкой кончились и каникулы, но начались сильные морозы, и младших школьников освободили от занятий. Когда девочки встретились в классе, казалось, что прошло не три недели, а три года и то, что происходило у Алены, было с ними в далеком детстве. Что-то сдвинулось и изменилось: они немного стеснялись друг друга, никогда не вспоминали о том вечере, будто дали обет молчания как соучастники страшного и тайного дела. К Кольвановой же с тех пор относились с уважением.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru)  
Бедная счастливая Колыванова  
Красная женская школа стояла напротив серой, мужской, построенной пятью годами позже, как будто специально для того, чтобы оповещать о разумной парности мира, но также и для того, чтобы дух соревнования не разливался бессмысленно по всему району, а мог бы сосредоточенно явиться над двумя этими крышами и воссиять голубем над достойнейшей, а именно женской, и по успеваемости, и по поведению, и по травматизму, в отрицательном, разумеется, показателе, всегда лидирующей.

Считалось, что в красной школе и педагогический состав лучше, и буфетчица меньше ворует, и дворник бойчее скалывает лед зимой и усерднее гоняет пыль по дорожке в летнее время.

Директорша Анна Фоминична тоже была известная, работала в двадцатых годах с самой Крупской и очень хотела, чтобы школе присвоили имя Надежды Константиновны, но его присвоили роддому, что был неподалеку. Голос у Анны Фоминичны был тихого металла, в стриженных волосах цвета пеньковой веревки она носила круглый гребень, а борт синего пиджака был по будням весь в дырочках, зато по праздникам в каждую дырочку вставлялось по ордену или по другому почётному знаку, тоже на винтике, а все остальное, то есть медали, прикалывалось скобочками.

Учительский коллектив она подбирала с тщательностью, но не только в общественные лица, тайными знаками проступающие из документов, она всматривалась, и человеческие достоинства, и профессиональные качества учителей учитывала Анна Фоминична при подборе кадров. В роно у Анны Фоминичны был такой авторитет, что ей многое дозволялось, о чем другие и не помышляли.

Все педагоги прекрасно знали о больших возможностях Анны Фоминичны, но и они были безмолвно удивлены, когда по выходе на пенсию старой немки Елизаветы Христофоровны, замученной грудной жабой и дерзкими старшеклассницами, Анна Фоминична представила им накануне первого сентября новую преподавательницу немецкого языка со скрыто воинственной фамилией. Эта новая Лукина была больше похожа на заграничную артистку, чем на советскую учительницу. Она только что вернулась из Германии, где много лет прожила с мужем-военным, и с головы до ног представляла собой сплошной вызов, и особенно ноги были вызывающими, какими-то непристойно голыми, – чулки она носила бесцветные, прозрачные и к тому же без шва, что было новомодной роскошью.

Педагогический состав, преимущественно женского пола, благодаря профессиональной выдержке кое-как вынес удар, но что должно было произойти со школьницами, не защищенными еще жизненным опытом, трудно было даже представить.

Год вообще обещал быть тяжелым: только что вышел указ о совместном обучении, мужскими и женскими оставались теперь только уборные в конце коридора, а не все школы в целом. Молоденькие учительницы, работавшие до этого исключительно в красной школе, были в большом смятении, более старшие коллеги, имевшие довоенный опыт работы в смешанных школах, отнеслись к этому новшеству хоть и неодобрительно, но без особого волнения. Слияние школ сопровождалось также введением мужской школьной формы, частично копирующей гимназическую. Старый математик Константин Федорович, начавший свою педагогическую деятельность еще до революции, прокомментировал предстоящую перемену кратко и загадочно: «Гимназическая форма внутренне организует». Он привык смолodu следить за своей дистиллированной речью и ничего лишнего не произносил.

Для пятого "Б" день того первого сентября был незабвенным: вместо двадцати переведенных в серую школу одноклассниц им влили пятнадцать бритоголовых хулиганов, набыченных и несколько растерянных. Плотным серым клубком они сбились в дальнем левом углу класса, держа круговую оборону, которую никто не собирался прорывать. Девочки изо всех сил делали вид, что ничего не происходит, обнимались, висли друг на дружке и разбивались на парочки, чтобы занять места на партах.

Безутешная Стрелкова сидела на парте одна, горя о Чельшевой, безвременно ушедшей в чуждый мир бывшей мужской школы. Выгоревшая на деревенском солнце Таня Колыванова, как обычно, устраивалась на задней парте и, хотя занятия еще как бы и не начинались, уже испачкала щеку лиловыми чернилами.

Зазвенел звонок, и на последнем его хриплом выдохе в класс вошла новая классная руководительница.

Онемели все – и старожилые девочки, и пришлые мальчики. Она была высока ростом и дородна. Сорок одна пара остановившихся зрачков пронзили учительницу, ни одна деталь ее внешнего облика не была упущена. Волосы ее блестели лаком, как крышка рояля в актовом зале, они и в самом деле были покрыты специальным лаком, о существовании которого еще не знала эта шестая часть света суши; красная помада немного вылезала за линию небольшого рта; темно-зеленые плоские туфли с черным бантиком и темно-зеленая же сумочка являли собой не правдоподобное совпадение, а на руке было плоское обручальное кольцо, каких в ту пору вообще не носили. И так далее...

«Вырасту и обязательно сошью себе такой же костюм в клеточку», – немедленно решила Алена Пшеничникова, а остальные двадцать пять девочек, не умевшие так быстро принимать решения, потрясно и бессмысленно тарачились на это чудо.

Колыванова, которую природа наделила неизвестно зачем очень тонким обонянием, первой ощутила сложный и обморочный запах духов. Она втянула в себя побольше этого пряного и немного слезоточивого запаха, но не смогла его в себе удержать и громко чихнула. На нее все посмотрели.

– Будь здорова, – сказала учительница. Туго натянутая пауза обмякла. – Садитесь пока кто куда хочет, потом разберемся, – продолжала учительница важным и немного писклявым голосом.

Колыванова села на свою заднюю парту, покраснев так, что на густом румянце выступили светло-серые веснушки.

– Поздравляю вас с началом учебного года. Я ваша классная руководительница, меня зовут Евгения Алексеевна Лукина, – с выразительными растяжками произнесла она и уже к концу фразы поняла, что напрасно беспокоилась и что дети будут слушать ее и подчиняться ей так же, как и молодые военные, которым она преподавала прежде. – А теперь познакомимся, – продолжала она и, раскрыв свежий журнал, произнесла:

– Алферов Александр.

Алферов Александр был самым мелким из мальчиков, но с взрослой мордочкой и смахивал на лилипута. Он стоял держась за парту и опустив глаза. Она молчала, ожидая, когда он посмотрит на нее. Он посмотрел.

Евгения Алексеевна была большим мастером взгляда, она умела смотреть кротко, колюче, многообещающе, загадочно и презрительно, вступая в молниеносные личные отношения. Она дочитала до конца весь список, подержала на крючке своего взгляда каждую из этих маленьких рыбок, запомнила фамилии двух девочек-близнецов, мальчика-лилипута, улыбающейся толстухи с передней парты и еще нескольких, с особыми приметами. Память у нее была профессионально цепкая, и она знала, что через неделю будет знать всех до единого. Она написала на блестящей мокрым асфальтом доске «Heute ist der 1 September» и приступила к обучению немецкому языку...

Эти первые дни сентября были в школе, особенно в старших классах, нервными и напряженными. Мальчики и девочки, приведенные вдруг в неожиданную близость, рассматривали друг друга новыми глазами, и даже те из них, кто давно был знаком по дворовым гуляньям, знакомились как бы заново. Быстро вызревали школьные романы, туго свернутые записочки летали с парты на парту, и траектории их полета были гораздо интереснее, чем траектория пули, пущенной со скоростью 45 м/сек из ствола под углом 30 градусов из бессмертного учебника физики Перышкина.

К концу сентября было доподлинно известно, кто в кого влюблен. В Алену Пшеничникову влюбился Костя Черемисов, и, как выяснилось впоследствии, на долгие годы; толстая Шишкина отдала свое просторное сердце спортивному второгоднику Васильеву и хорошему Саше Капу одновременно; Багатурия и Конников ели друг друга глазами с первого по последний урок, и Леночка Беспалова уже видела их однажды у самого фонтана на Миусском скверике.

Были, конечно, и тайные симпатии, скрытые страсти и потаенная ревность, но самое пылкое чувство, идеальное и бескорыстное, было укрыто в сердце Колывановой. Предмет влюбленности был недостижимо высок – сама божественная Евгения Алексеевна.

Два урока в неделю и минутные встречи в коридоре не насыщали колывановской страсти. Обычно во время перемены она вставала напротив двери учительской и ждала ее выхода, как ждут выхода примадонны, и каждый раз Евгения Алексеевна оказывалась прекрасней возможного, действительность ее несказанной красоты превосходила ожидаемое, Таня счастливо обмирала. Невзирая на столбняк счастья, мелкие детали не ускользали от восхищенного взгляда: новая брошка у ворота, край шелкового платочка, вдруг высунувшийся из верхнего мелкого кармашка ее костюма. Тане не приходило в голову, как, скажем, Алене Пшеничниковой, возмечтать о таком вот костюме в клеточку, когда-нибудь, в бесконечно удаленном времени «когда вырасту». Единственное, чего хотелось Колывановой, это иметь фотографию Евгении Алексеевны, и она заранее предвкушала, как в конце года сделают большую фотографию всего класса с классной руководительницей посередине и как она вырежет ножницами ее портрет, непременно круглый, и будет носить его в пенале, в маленьком отделении для перьев. Но до конца года было еще далеко.

Однажды в конце сентября, проводив на филерской дистанции Евгению Алексеевну до метро, она решила спуститься вслед за ней и, сделав незамеченной пересадку на станции «Белорусская», вышла на «Динамо», следуя на приличном отдалении за ее светлым плащом. Плащ мелькал между деревьями, петлял по тропинке мимо ветхих дач бывшего Петровского парка, а Таня шла по красно-желтым кленовым листьям, как по небу, и готова была идти так всю жизнь, видя впереди себя этот складчатый плащ и блестящий античный узел, свитый на затылке. Потом учительница свернула куда-то и исчезла. Колыванова решила, что она вошла во двор единственного достойного ее дома, «генеральского», украшенного огромными гранитными шарами у входа.

Впоследствии выяснилось, что Евгения Алексеевна действительно жила в этом доме. Еще несколько дней спустя, когда тайные проводы учительницы стали ежедневным ритуалом, Колыванова увидела, как навстречу учительнице бросилась девочка лет пяти, в красной плиссированной юбочке и с обручем в блестящих черных волосах. Девочка гуляла с толстой хмурой старухой в шляпке с ушами и была, в сущности, некрасива: с высоким лобиком, длинным подбородком и толстой нижней губой. Тане она показалась необыкновенной.

«Заморская какая девочка», – подумала она восхищенно. К тому же заморскую девочку звали Регина. Девочка была так похожа на своего отца, что спустя некоторое время Колыванова узнала отца девочки в широком кургузом генерале с толстой нижней губой, который с недовольным лицом вылезал из черной машины возле подъезда Евгении Алексеевны.

Движимая ненасытным и невинным желанием видеть возлюбленную, Колыванова следовала за ней на известном отдалении, когда та отправлялась к своему зубному врачу на Трубную площадь, невидимо сопровождала ее, когда она наведала в больницу свою старшую сестру, поджидала возле парикмахерской, где ей мазали вишневым лаком большие ногти, и вдыхала дурманящий запах лака, пробивавший тонкие кожаные перчатки, когда та выходила на улицу. Даже самая тайная сторона жизни учительницы не ускользнула от Колывановой: по вторникам, без десяти три, Евгения Алексеевна выходила из школы и шла пешком в сторону, противоположную метро, доходила до кафельной молочной на углу Каляевской и Садового, останавливалась у витрины с гигантскими бутфорскими бутылками, и в ту же минуту подъезжала серая «Победа», из нее выскакивал высокий военный, огибал машину и распахивал перед ней дверцу. Она садилась на место рядом с водительским, он с непроницаемым лицом хлопал дверцей, и выворачиваясь из-за угла в этот момент Колыванова еще успевала заметить в скругленном окошке машины мужскую руку на заброшенном затылке.

Самоуверенная и беспечная Евгения Алексеевна, которая даже школьных учительшек, как сама говорила своей ближайшей подруге, смогла поставить на место, была близорука, лица в толпе у нее смешивались, а что касается Колывановой, то ей по ее детской и всяческой незначительности раствориться в толпе труда не стоило. Так и жила Евгения Алексеевна с невидимым эскортом изо дня в день, не исключая и выходных, которые Колыванова проводила по возможности в ее дворе с гранитными шарами, чтобы не пропустить, как она выходит из дому с дочкой или с мужем. Потом началась зима. Евгения Алексеевна стала ходить в блестящей цигейковой шубе и коричневых ботинках на белом каучуке. Девочки в классе постоянно обсуждали Евгешины наряды, но Колыванова этих разговоров не понимала: красивая одежда Евгении Алексеевны была, по ее ощущению, не свидетельством хорошего вкуса, богатства, того факта, в конце концов, что Евгения Алексеевна долго жила за

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) границей, а исключительно ее личным качеством, словно блестящие шубы и сапожки, пушистые свитера и кофты она просто выделяла из самого своего существа, как моллюск выделяет перламутр.

К середине декабря, к концу второй четверти, у Колывановой открылось так много двоек, что Евгения Алексеевна вызвала ее, указала крепким ногтем на каждую из них и сказала, что надо обязательно подтянуться. Она прикрепилась к Колывановой исполнительную отличницу Лилию Жижморскую, и Лиля рьяно взялась за дело. Ежедневно дожидалась Лиля, пока Колыванова съест в школьной столовой свой бесплатный обед, завистливо поглядывая на казенный винегретик, который дома почему-то никогда не готовили, и вела Колыванову к себе, совсем недалеко от школы.

Ласковая домработница Настя целовала Лилию. Лиля целовала Настю. Потом выходила головастая кошка – потереться о Лилины ноги в бумажных чулках, а в конце концов выползала крошечная, совсем игрушечная старушка, которая называлась Цилечка, и происходило еще одно целование. Цилечка говорила все на "э" – золоткэ, кошечкэ, донелэ – и совершенно ничего не слышала, о чем Лиля в первый же раз и сообщила Колывановой: «Циля, наша родственница из провинции, приехала, чтобы подобрать слуховой аппарат».

Потом они мыли руки и шли в большую комнату, где стоял стол под белой скатертью, ковровая кушетка, пианино и много всякого другого добра и красоты, даже телевизор с линзой. Настя приносила обед сразу на двух тарелках для каждой, и еда тоже была необыкновенная. Один раз дали вместо супа бульон в чашке с двумя ручками с пирожком на маленькой отдельной тарелочке, и пирожок был хотя и с мясом, но такой вкусный, как будто сладкий. Пока они ели, Настя стояла у двери со сложенными на животе руками и непонятно чему радовалась. Когда же однажды Настя подала им компот не в стаканах, а в стеклянных плошечках, Колыванова вдруг догадалась, что и у Евгении Алексеевны в доме все должно быть в точности так богато и красиво. Только странный запах все время ощущался в комнате, тревожный и раздражающий. «Евреями пахнет», – решила Колыванова, которая знала, что они каким-то нехорошим образом отличаются от других людей. Это был запах камфары, который пропитал квартиру со времен болезни Лилиного деда.

После второго обеда хотелось спать, но Лиля вела Колыванову в маленькую угловую комнату и усаживала за уроки. Сначала Лиля толково объясняла, но если видела, что Таня не понимает, быстро писала все в своей тетради и велела просто переписывать. Ученье заканчивалось довольно скоро, потому что в четыре часа входила Настя и напоминала: «Лилечка, у тебя музыка», или: «Лилечка, у тебя немецкий»... И Лилечка послушно складывала тетради, а Таня уходила.

Колыванова так увлеклась ходить к Жижморским, что даже немного охладела к Евгении Алексеевне, хотя воскресенья по-прежнему проводила в ее дворе.

К концу четверти все двойки были исправлены, кроме географии, по которой Колыванову все не спрашивали. Тогда Лиля сама пошла к учительнице географии и попросила, чтобы та вызвала Колыванову. Ей поставили троечку, и Лиля возгордилась колывановскими успехами больше, чем своими скучными пятерками: в ней проснулось педагогическое тщеславие.

Между тем приближался Новый год, в классе собирали деньги на подарок классной руководительнице, и родительница Плишкина, которая была, как все знали, со вкусом, купила в подарок от имени всех большую плоскую коробку с шестью хрустальными бокалами. Таня так и не увидела этих бокалов, хотя десять рублей у матери выпросила и родительница Плишкина поставила крестик против ее фамилии. Зато в магазине «Стекло-хрусталь» на улице Горького она долго рассматривала весь выставленный в витрине хрусталь и выбирала мысленно среди рюмок те, которые казались ей самыми красивыми: высокие, узкие, с граненым шариком на вершине ножки.

Потом начались скучные каникулы. Дома болел Колька. Сестра Лидка ходила теперь на работу, была ученицей обмотчицы, а Танька сидела с Колькой. Потом заболел и Сашка. Колыванова с нетерпением ожидала конца каникул, заранее загадывая, как она увидит Евгению Алексеевну. За время разлуки любовь ее как будто немного затуманилась, но не прошла. В сущности, это была счастливая любовь, она ничего не требовала для себя, и даже мысль о служении не являлась Колывановой: да и чем могла послужить своему божееству маленькая Колыванова, не имеющая за душой

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
ничего, кроме смутного восторга?..

Наконец наступило одиннадцатое января. В восемь часов утра Кольванова уже стояла у школьных ворот, ожидая, как Евгения Алексеевна войдет во двор – линкором среди плавучей мелочи. И вот она вошла, еще более высокая, чем представлялась Кольвановой, еще более красивая, и не в цигейковой шубе, а в рыжей лисьей жакетке и зеленом цветастом платке.

Раздевалась Евгения Алексеевна в учительской раздевалке, а Кольванова стояла в очереди, чтобы просунуть свое дрянненькое пальтишко в гардеробную дырку, и, отдав его дежурным, прошмыгнула в учительскую раздевалку и понюхала рыжий жакет, который пахнул наполовину зверем, наполовину духами и светился огнем и золотом. Она погладила чуть влажный рукав и ушла незамеченной...

После школы Лиля позвала ее делать уроки, но она отказалась, потому что уснувшая было любовь пробудилась с новой силой и она решила во что бы то ни стало проводить сегодня Евгению Алексеевну до дома тайным, как всегда, образом.

Таня после уроков долго гуляла в школьном дворе, поджидая Евгению Алексеевну. Она вышла в половине четвертого и быстро, не глядя по сторонам, пошла к метро, спустилась вниз, но не повернула, как обычно, к среднему вагону, а пошла в самый торец зала, откуда двинулся ей навстречу заметный человек в белом кашне, без шапки, с густыми серыми усами. Он был не тот военный, который встречал ее по вторникам возле молочного магазина, и не муж в серой папахе. Он был молодой и такой же красивый, как сама Евгения Алексеевна, а в руках у него были цветы, завернутые в ласковую бумагу.

Кольванова, глядя на них, испытывала счастье прикосновения к прекрасной жизни – как в кино, как в театре, как в Царствии Небесном, о котором все рассказывала их деревенская бабушка, простая и глупая. И она представила себе, как они сидят за столом и едят обед из двух тарелок сразу, а Настя подносит им пирожки на блюдечках, а они пьют ярко-красное вино из тех бокалов со стеклянными шариками на ножках, и все это происходит непременно в той красивой комнате у Лильки. И никакого хихиканья, возни, кряхтенья, которое разводит их мамка со своими любовниками. Никогда, никогда... Может, только поцелуют друг друга, красиво запрокинув головы...

Таня стояла на порядочном расстоянии, припрятавшись за мраморной полуаркой. Люди шли довольно густо, и она быстро потеряла их из виду.

В школе в январе и в феврале происходили разные события: сначала был пожар в котельной, и три дня не учились, пока не наладили топку, потом умерла недавно вышедшая на пенсию бывшая немка Елизавета Христофоровна, которую хоронили почему-то чуть не всей школой, потом семиклассник Козлов упал с пожарной лестницы и сломал сразу обе ноги, и, наконец, директорша Анна Фоминична уехала в составе учительской делегации в Чехословакию, а потом приехала, рассказала на общешкольном собрании о братской Чехословакии и дала адреса чехословацких пионеров, и вся школа как сумасшедшая стала писать им письма. А потом устроили конкурс на лучшие десять, отправили их и стали ждать ответов.

Тут уже начался март, и все стали готовиться к Международному дню Восьмое марта. Родительница Плишкина опять собирала деньги на подарок классной руководительнице. Кольванова попросила у матери десятку, но мать была злющая, денег не дала и обругала. Сестра Лидка обещала дать с получки, но получка была пятнадцатого, а та, что была первого, уже вся ушла. Танька плакала три вечера подряд, пока мать не пришла веселая, выпившая, с Володькой Татаринцом и не дала ей десятку.

С утра Кольванова собиралась сдать десятку Плишкиной матери, которая приводила по утрам свою Плишеньку и собирала в раздевалке деньги. Но поскольку Кольванова уже успела объявить ей, что денег мать не дает, то с нее уже и не требовали. Целый день она скучно сидела на своей задней парте. Немецкого в тот день не было, и вообще была суббота, немкин выходной, так что и на перемены Таня из класса не выходила: интересу не было.

Последним уроком было рисование. Рисовали из головы корзину с цветами и подписью на красной ленте «Поздравляю маму...». Кольванова ничего не делала: во-первых, карандашей не было, во-вторых, училка Валентина Ивановна была толстая корова,



Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) сидела за столом и никого не проверяла. Колыванова скучала, скучала, а потом вдруг ее озарила великая идея: купить Евгении Алексеевне настоящую корзину цветов, как дарят артисткам, и подарить тайным образом, но от себя лично, а не общественным способом.

Едва досидев до конца урока, понеслась Колыванова на улицу Горького, где был известный ей цветочный магазин, в витрине которого она видела такие корзины. На этот раз никаких корзин в окне не было, все было забрано слоистым морозовым узором, и она вошла в маленький магазин. Корзины стояли во множестве, и откуда они здесь взялись посреди зимы, даже представить себе было невозможно.

Старый розоволицый мужчина в круглой барской шапке с бархатной макушкой выбирал цветы, а продавщица все ему приговаривала:

– Дмитрий Сергеич, Вера Иванна больше всего любит гортензию, гортензию ей всегда посылают...

Мужчина, сильно похожий на кого-то знаменитого, богатым голосом отвечал ей:

– Милочка моя, да Вера Иванна гортензию от геморроя отличить не может...

Колыванова под сурдинку шмыгнула к прилавку и обомлела: гортензия эта стоила 137 рублей, а та, что в корзине поменьше, – 88. А самые дешевые цветы в корзине, красные и белые, на длинных гнутых стеблях и не такие уж пышные, все равно стоили 54... Но десять-то уже было! Не теряя времени, Колыванова поехала в Марьину рощу к родственнице своей, безрукой Тамарке. У нее она надеялась выпросить недостающие сорок четыре рубля. Тамарка была дома и даже обрадовалась, велела поставить чайник. Таня сварила чай, покормила Тамарку с рук хлебом и колбасой и сама поела. Поевши, Тамарка сама спросила, зачем она приехала.

– За деньгами, – честно призналась Колыванова. – Мне сорок четыре рубля нужно.

– А на что тебе столько? – удивилась Тамарка.

Колыванова понимала, что не надо бы говорить на что, но быстро врать не умела. Потому призналась, что учительнице на подарок.

– Я тебе родня, – рассердилась Тамарка, – к тому же и увечная, что-то ты мне подарков сроду не делала... Не дам тебе нисколько. Хочешь – заработай. Вот помоешь меня в корыте да постираешь, тогда дам тебе, не столько, конечно...

Колыванова поставила на плиту два ведра с водой и стала ждать, пока согреется. Весь вечер она возилась с ее бельем, которого был полный таз. Тамарка дала ей десять рублей, но отругала, что постирано нечисто.

Домой вернулась поздно. Мать была в ночную, а Лидка спала. Утром поговорить с Лидкой она не успела, потому что она очень рано ушла на фабрику.

Только вечером следующего дня снова приступила Колыванова к сестре насчет денег. Лидка была умная, ловкая, но денег у нее на самом деле не было. Она пошла под лестницу, там висела дяди Мишина рабочая телогрейка, которая не раз выручала ее по мелочевке. Она пошарила в обоих карманах и принесла сестре горсть мелочи, больше двух рублей.

На кухне в тот вечер была драка. Тетя Граня из зеленого барака пришла ругаться с тетей Наташей за своего мужа Васю. Соседки собрались на кухне, и мать Колывановых, Валентина, тоже там участвовала. Лидка велела Тане постоять при дверях, влезла в материну сумку, но в ней была одна большая бумажка в пятьдесят рублей и больше ничего. Был у Лидки в запасе еще один способ, но она сомневалась, чтоб Танька на него согласилась. Но все же спросила:

– А если потараканят тебя?

– А сильно больно? – деловито поинтересовалась Колыванова.

Лидка задумалась, как бы верней объяснить:

– Мамка покрепче дерет.

– Тогда пусть, – согласилась Танька.

Переговоры Лидка решила провести немедленно. Надела серую козью шапку и пошла. Идти надо было рядом, в смежный двор, но вернулась она не очень скоро, зато довольная.

– Ну, обещал он денег-то дать, Паук-то, – сообщила она.

– Да ну? – обрадовалась Танька.

– Не так просто, – остерегла Лидка сестренку. – Потараканит тебя.

– А вдруг потом денег не даст? – встревожилась Танька.

– Так вперед взять, – надоумила опытная Лидка. Танька, хотя была и маленькая, тоже хорошо соображала:

– Ну да, сначала дадут, а потом отберут.

– Так вместе ж пойдем, я сразу возьму и унесу, – предложила Лидка.

Танька обрадовалась: так выглядело надежней.

– А сама-то ты к нему ходила? – спросила Танька сестру.

– Когда еще было... – отмахнулась Лидка. – Когда мать Сашку рожала, в то лето. А потом она из роддома пришла, ей Нюрка сказала, что я к Пауку ходила, она меня выдрала, – напомнила Лидка. – Я теперь этим не занимаюсь. Я теперь замуж выходить буду, – с важностью добавила она.

Таня кивнула, но без сочувствия. Она была занята своими мыслями: времени-то почти не оставалось, назавтра было шестое, а Лидка выходила с двух, а вечером надо было братьев забирать, и вдвоем отлучиться им было невозможно. Идти же одной Танька боялась, хотя и знала куда.

Пошли они седьмого, перед вечером. Жил Шурик Паук во втором этаже зеленого барака с матерью и с бабкой. Был он молодой парень, но порченный. Одна нога у него росла криво и была короче другой. Он и в армии не служил, и не работал толком. Был голубятником в своем сарае с большой голубятней наверху он и проводил все время, ночевал там даже зимой, укрывшись тулупом и старым ковром Он не пил, не курил. Говорили, что деньги на машину копит. И еще известно было, что он портит девочек. Сам он, смеясь редкозубым ртом, говорил, что ни одна девчонка из барачков от него не ушла. Взрослые девки дела с ним не имели.

Когда сестры Кольвановы пришли к нему, он был сильно озабочен, усаживал в клетку полуживую птицу.

– Вишь, заклевал мне голубку хорошую. Затоптал всю, злой такой турман, – пожаловался он девочкам, которые вошли и сели у двери на один шаткий стул.

Он возился с птицей минут десять, мазал ей поклеванную шейку, дул на розовую головку. Потом закрыл клетку и обернулся к ним.

– Лид, а Танька-то твоя дылда какая, я думал, маленькая, – заметил он.

– Она меня на три года моложе, а вот на столько выше, – объяснила Лидка положение вещей. И правда, хотя Лидке уже исполнилось шестнадцать, она была небольшого роста, и Танька в этом году ее сильно переросла. Зато Лидка была просторная, с мясом, как говорила их бабушка, а Танька сухая как саранча.

– Че, тебе тридцать четыре рубля надо? – спросил он у Таньки.

– Тридцать два можно, – ответила Танька, вспомнив про два рубля серебром.

– Чтой-то холодно сегодня, – озабоченно вдруг сказал Паук и пошевелил задумчиво в кармане брюк. – А ты иди, иди, – обратился он к Лидке.

Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya@ludmila.ru](http://litskaya@ludmila.ru)  
– А деньги-то? – спросила Лидка.

– А принесешь когда? – поинтересовался он.

– Пятнадцатого принесу, в получку, – пообещала Лидка.

– Ну ладно. А пока не принесешь, пусть она ко мне ходит, – он засмеялся, – процент платить.

Он вынул из кармана целый пук мелких денег и отсчитал тридцать два рубля трешками и рублевками. Лидка не постеснялась, пересчитала.

– Иди себе, иди, – велел ей Паук, и она тихонько выскользнула в дверь.

Танька с облегчением вздохнула: набрала она денег на свое дело, набрала...

Шурик еще пошевелил в кармане:

– Ну что, посмотреть-то на него хочешь?

– Нет, – улыбнулась простодушно Танька, – мне бы поскорее.

– Ну ладно, – не обиделся Паук, – сядь тогда на лестницу, вон туда, – он указал ей на третью перекладину приставленной к лазу на голубятню грубо сбитой лестницы. – Да валенки надень, надень, замерзнешь, – разрешил он, когда увидел, как она стягивает из-под пальто кое-какую одежду и протягивает через нее голые цыплячьи ноги...

В тот учебный год, год слияния мужских и женских школ, зацветали даже сухие веники: сразу у двух учительниц сбежали мужья к каким-то, само собой, молоденьким сучкам, новый литератор Денискин влюбился в практикантку Тонечку и скоропалительно женился, незамужняя учительница рисования, которая ходила с большим животом последние десять лет, вдруг ушла в декрет, и даже Анна Фоминична, под насмешливыми взглядами всего педагогического состава, тяжело кокетничала с овдовевшим математиком. Дежурные выметали из классов бессчетные записочки, а одной девятикласснице из очень приличной семьи сделали аборт в роддоме как раз имени Крупской, за что Анну Фоминичну вызывали в роно и сильно прикладывали. Было еще много всяких тайных любовных вещей, про которые никто не знал.

В школе готовился большой вечер, посвященный Восьмому марта, и Кольванова тот день прогуляла.

Она ушла из дому утром, как обычно, но захватила с собой материнскую кошелку. Еще не было девяти часов, а она уже стояла у закрытого цветочного магазина, который открылся в одиннадцать. Она не напрасно пришла так рано: через час за ней стояло уже человек двадцать, а к открытию очередь выстроилась чуть ли не до Елисеевского.

Она сразу рванулась к кассе и опять была первая. Цветы, которые она облюбовала заранее, как она теперь узнала, назывались цикламены, и были они трех сортов – белые, розовые и пронзительно-малиновые. Малиновые она и выбрала, хотя и не без колебания: розовые и белые ей тоже нравились.

Та же самая продавщица, которая советовала давешнему старику гортензии, красиво завернула корзину и помогла засунуть ее в кошелку.

Было начало двенадцатого, и она поехала на двух троллейбусах на дом к Евгении Алексеевне. Она поднялась на последний этаж, а потом еще на полпролета выше, к самому чердаку, и села там. Она знала, что ждать ей предстоит долго. Неудобство заключалось в том, что Евгения Алексеевна жила на седьмом этаже, а Таня забралась выше десятого, и по неопределенному стуку лифта невозможно было догадаться, где именно он остановился. Всякий раз, когда хлопала дверь, она спускалась на три этажа ниже посмотреть через проволочную сетку на седьмой, не идет ли Евгения Алексеевна.

К обеденному времени, она видела, вернулась Регина со своей прогулочной теткой. Несколько раз приезжали какие-то дети и старые люди, но в другие квартиры.

Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
Хотелось есть, пить, спать, потом немного заболел зуб справа, но сам собой и прошел. Таня стала беспокоиться, не завяли ли цветы в корзине, она распустила сверху бумагу, но там, под бумагой, цветы были свежими и великолепными, только показались ей совсем темными, и она пожалела, что не купила белые.

Потом дочку Регину снова повели на прогулку, а вскоре начало темнеть в окнах на лестничной клетке. Опять хлопнула дверь на седьмом этаже: это была серая папаха. Колыванова просидела еще минут сорок, прикидывая, что пора бы уже появиться Евгении Алексеевне. Она никогда не оставалась на школьных вечерах до самого конца, как другие учителя.

«Пора», – решила Колыванова, вытащила из кошелки завернутую в бумагу корзину и, прижимая к животу, снесла к дверям и поставила на самую середину коврика. Потом она снова поднялась в свое убежище. Но ждать пришлось уже недолго, минут через пять приехала Евгения Алексеевна, и Колыванова видела сверху ее рыжих лисиц и маленькую вязаную шапочку с витым шнуром. Она даже услышала приглушенный звонок, щелканье замка и недовольный мужской голос.

Теперь Таня заторопилась, бегом побежала к метро. В метро было светло и ярко, и все женщины несли веточки мимозы. Она представила себе корзину с богатыми бархатными цикламенами, с блестящими плотными листьями и впервые в жизни испытала гордость богатства и презрение к бедности – к жиденьким желтым шарикам с противным запахом, и еще было невыразимое чувство соучастия в прекрасной гармонии мира, которой она послужила: Евгении Алексеевне шли цикламены точно так же, как вся ее красивая одежда, как гранитные шары у ее подъезда, как усатый красавец, который встречал ее теперь в метро чуть ли не каждый день.

По-видимому, относительно молодого усача у генерала Лукина были совершенно другие соображения. Во всяком случае, когда он, взбешенный и мрачный, открыл жене дверь, он собирался спросить ее, где именно она шлялась, объявив, что задержится на школьном вечере. Он заехал за ней в школу в половине пятого, поскольку ему принесли два билета на торжественный концерт в Большой театр. Но в школе ее уже не было. Она сказала там больной и давно уехала. Вот именно куда же она уехала и хотел знать генерал Лукин, который сердцем ревнивца давно уже чувствовал дыхание измены.

Жена его вошла с растерянной улыбкой и с корзиной цветов:

– Представь, Семен, на коврике у двери корзина с цветами...

Но она не успела договорить, поскольку муж ее Лукин совершенно бабьим размашистым жестом закатил ей крутую оплеуху. Всей своей прежней гордой жизнью была она к этому не готова, не удержалась на ногах и упала, ударившись бровью об угол подзеркальника. Корзина тоже упала.

Он кинулся поднимать жену, но она отвела его руку и пошла, сбросив на пол лисью жакетку, сказав ему через плечо единственное слово: «Пеньки!»

Это было то самое слово, которое она изредка обрушивала на него как топор, и название милой вятской деревушки, откуда он был родом, мгновенно обращало его в ничтожество, в подпаска, в деревенщину. Он почувствовал боль и стыд такие же острые, как недавний гнев. Раскаяние и неожиданная уверенность в невинности, даже какой-то горделивой невинности, его жены охватили его.

Она защелкнула дверь ванной. Он стоял в коридоре и, прижавшись щекой к двери, твердил едва не со слезами: «Женечка, Женечка, прости!» А Женечка, зажимая мокрым полотенцем кровоточащую ранку, морщилась от боли и злорадно, по-детски, твердила про себя: «И буду, и буду, и всегда буду!»

Корзина с цикламенами лежала на полу в прихожей, и никак нельзя было сказать, чтобы она доставила Евгении Алексеевне большую радость...

Зато радость была у Колывановой: неслась она в сторону дома так поспешно, потому что Паук велел приходить ей каждый день на отработку, и она, девочка послушная, и не думала отлынивать. Подойдя к сараю, она обнаружила, что дверь открыта, а Паука нет.

Дома Лидка шепотом рассказала ей, что дворовые мужики за какие-то подлые грехи

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru) так сильно Паука изметелили, что его свезли в больницу. А голубятню, вместе со всеми голубями, разгромили... Прошло много времени, прежде чем Паук снова появился во дворе, и денег ему сестры Колывановы так и не отдали. Растопталось...

Но счастье – чего еще не знала Колыванова – всегда сменяется горестями. Евгения Алексеевна в школе больше не появилась. Сначала она взяла бюллетень по травме, а потом ее муж получил назначение военным советником за границу, и она отбыла в великую страну на востоке, где покупала себе шелк, нефриты и изумруды, а по штату им полагался повар, двое слуг, садовник и шофер, и все, разумеется, китайцы. Про Колыванову она никогда в жизни и не вспомнила.

А бедная Колыванова долго тосковала. Потом любовь ее как будто зажила. Девичьей жертвы своей она вовсе и не заметила, тем более что, кроме Лидки да Шурика Паука, никто и не знал. Один раз Евгения Алексеевна приснилась ей, но каким-то неприятным образом: как будто она подошла к ней на уроке и стала больно стучать по голове костяшками маникюренных пальцев. Новую учительницу немецкого Таня невлюбила, но немецкий язык казался ей каким-то высшим, небесным.

Два года Колыванова провела в тоскливой спячке. Все девочки в классе повзрослели и покруглели, одна она все росла вверх, как дерево, и стала в классе выше всех, даже мальчиков. Потом у нее неожиданно выросла хорошая грудь, серые волосы оказались вдруг пепельными, видимо от мытья, потому что матери дали на фабрике двухкомнатную квартиру с ванной. Так она сделалась сначала симпатичной, а потом и вовсе красивой. Но мальчики на нее не смотрели, все привыкли, что она никакого интереса не представляет. Зато когда Анна Фоминична пригласила на первомайский вечер слушателей из Высшей партийной школы, а именно любимых своих чехословаков, а те привели с собой всяких прочих коммунистических шведов, среди которых были болгары, итальянцы и один действительно швед, то этот швед пригласил Колыванову танцевать, но Колыванова отказалась, потому что не умела. Но швед все равно в нее влюбился. Встречал ее после школы, водил в кино и в кафе, разговаривал с ней по-немецки и привозил подарки. Она ходила к нему в общежитие через трое суток на четвертые, когда дежурил его знакомый вахтер. Фамилия шведа была Петерсон, он ей не нравился, потому что был ростом меньше ее и с лысиной, хотя и молодой. Но он был не жадный, делал для нее много хорошего, так что она ходила к нему из благодарности.

Потом он уехал, и она не горевала. Вскоре она окончила школу, слабенько, на троечки. Мать хотела, чтобы она поступила на фабрику, в канцелярию, там было место, но она захотела учиться и поступила в педагогический техникум. В институт пострашилась.

Петерсон писал ей письма, а через год приехал, чтобы жениться. Но сразу не получилось, с бумагами были сложности. Он приехал еще раз и все-таки женился. Вскоре Колыванова уехала в Швецию. Там она купила себе первым делом сапожки на белом каучуке, цигейковую шубу и пушистые свитера. Петерсона она не полюбила, но относилась к нему хорошо. Сам Петерсон всегда говорил, что у его жены загадочная русская душа. А бывшие одноклассники говорили, что Колыванова счастливая.

#### ПИКОВАЯ ДАМА Зверь

В один год ушли от Нины мать и муж, не для кого стало готовить, не для кого жить. Теперь она, как Ева из изгнания, смотрела в сторону своего прошлого, и все ей там, в прошлом, казалось прекрасным, а все обиды и унижения выбелились до полного растворения. Она даже ухитрилась забыть о том боевом перекрестье, на котором она стояла все одиннадцать лет своего брака, в огне взаимной ненависти двух любимых ею людей.

Теперь, по истечении времени, все это вспоминалось скорее как драма сложных характеров, а не как бытовое позорное цепляние, неприличные взаимные уколы, раздражение, доходящее до точки кипения, и яростные скандалы, случающиеся всякий раз, когда Нине удавалось свести их за белой скатертью в безумной надежде соединить несоединимое. Никогда, никогда не жила Нина в раю, разве что в ранней молодости, когда она еще училась в консерватории, не знала Сережи и не случилось с ней ее первого несчастья. Но теперь все умерли, жизнь как будто свернулась кольцом и прошлое, освещенное кинематографическим светом счастья, прожорливо заглохло и пустынное настоящее, и лишенное какого бы то ни было смысла будущее.

Всеми мыслями и чувствами она была привязана теперь исключительно к покойникам,

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) которые смотрели на нее со всех стен. Мама с арфой, мама в шляпке, мама с обезьянкой на руках. Сережа – мальчик с деревянной лошадкой, Сережа – школьник с прозрачным чубчиком, Сережа – яхтсмен с каменными плечами, предпоследний Сережа с осевшими на шею щеками, матерый, опасный, и последний – худое лицо, вмятые виски, в глазах не то сомнение, не то догадка. Или созревшая мысль, так никогда и не высказанная, и бабушка Мзия, умершая до Нининого рождения, с лицом старинным и суровым, в круглой девичьей шапочке под темным покрывалом, знаменитая исполнительница забытых теперь песен...

Почти два года прошло, как умерла мама, одиннадцать месяцев после смерти Сережи, а легче нисколько не делалось, становилось только хуже. Замучили сны. Не кошмары, а какие-то серые, на коричневом фоне, вялые и блеклые картинки, такие трухлявые, что и сном не назовешь. Нина говорила себе в этом слабом сне: проснись, проснись, – но тусклая паутина теней не отпускала ее, а когда Нина наконец выбиралась оттуда, то выносила на белый день неопишемую тоску, злую, как зубная боль.

Нина наподобие кастрюли-сковородки проваривала в себе эти ночные переживания и, вконец измучившись, пожаловалась своим подругам. Подруг у нее было две: старшая, Сусанна Борисовна, – дама высокообразованная и мистически одаренная, даже состоявшая в антропософском обществе, и младшая, Томочка, – женщина простоватая, пугливая и такая богобоязненная, что за годы их дружбы Нина даже прониклась неприязнью к тому богу, который столь многого от нее требовал и ничегошеньки не давал взамен. И даже то небольшое, что от рождения было Томочке дано, – бледноватая миловидность, – и то у нее было отобрано: мать ошпарила ее в детстве, и правая щека ее сильно пострадала от ожога.

Обе подруги много помогали Нине в ее тяжелые времена, но друг дружку недолго любили, ревновали. Смирная Томочка, говоря о Сусанне, наливалась анемичной злостью – на более яркие чувства у нее не хватало темперамента, розовела и говорила шипучим голосом: «Она еще себя покажет, попомнишь мои слова, я прямо нутром чувствую ее бесовские дела...». Сусанна Борисовна относилась к Томочке как будто снисходительно, только время от времени легонько высказывалась о Томочкином невежестве, о ее диких языческих заблуждениях и примитивности. К слову сказать, покойный Нинин муж обоих терпеть не мог – Тому считал убогонькой, а Сусанну Борисовну иначе как «мадам Грицацуева» за глаза не называл.

Примитивная Томочка, узнав от Нины о ее ночных страданиях, объявила, что будет о ней усиленно молиться, а ей, Нине, надо непременно причаститься, потому что все эти испытания насылаются на нее исключительно для богообращения...

Сусанна Борисовна, в некотором роде врач, – у нее был косметологический кабинет – выписала Нине транквилизатор и снотворное, а тяжелые сны объяснила неполным разрушением астральных тел ее дорогих покойников, неблагоприятными обстоятельствами их посмертного пути, рекомендовала Нине стать на путь самосовершенствования и оставила с этой целью редкую по своему занудству книгу про духовные иерархии и их отражения на физическом плане.

То ли лекарства помогли, то ли Томочкины молитвы, но первое время спать она стала лучше, серо-коричневые тени больше не мельтешили, но, странное дело, снился премерзкий запах. Она просыпалась от нестерпимой вони, наводящей ужас своей нездешней силой, потом засыпала снова. Появилось ощущение, что в доме кто-то есть: тень, призрак, недобрый дух... И эта вонь, ни на что не похожая. Вероятно, вроде тех химических веществ, от которых люди сходят с ума.

Через несколько дней приснившаяся вонь как будто материализовалась. Придя однажды с работы, Нина почувствовала резкий кошачий запах, отвратительный, но не выходящий за рамки пристойного реализма. Своим длинным и чутким носом Нина скоро нашла эпицентр вони: это были домашние тапочки Сережи, которые все это время стояли возле двери в калошнице. Нина тщательно, с порошком, отмыла тапочки, но, вероятно, несомненно особо вездливых молекул осталось, так что ей пришлось еще побрызгать в квартире дезодорантом. Но кошачий запах все равно пробивался сквозь лаванду и жасмин. Она позвонила Сусанне Борисовне и пожаловалась. Та помолчала, помолчала, а потом сказала неожиданно:

– Знаете, Ниночка, а вам необходимо бросить курить.

– Это почему же? – изумилась Нина.

– На вас идет мистическое нападение, Нина, а курение притупляет мистическое чутье, – пояснила Сусанна Борисовна. – В вашей квартире неблагоприятно...

Неблагоприятно – это самое малое, что можно было сказать об этой квартире. Проклятое место, трижды проклятое место, – душа ее с самого начала к ней не лежала. Сереже приспичило сразу же после смерти мамы объединить их небольшую уютную квартиру на Беговой и мамину однокомнатную в эти хоромы, и отговорить его Нине не удалось. Он и слушать не хотел ни о последнем этаже, ни о протечках на потолке. В тот год дела его шли так хорошо, что плевал он на эту дырявую крышу и готов был над своей головой и крышу переложить. Такой уж был человек.

За полгода он сделал все точно так, как задумал: повалил стены, поднял в половине квартиры пол сантиметров на тридцать, превратив небольшую кухню и одну из комнат в трапезную, – и все жилище их представляло собой двухсветный зал, сквозняковый, холодный, а внутренняя дверь вела в большой совмещенный санузел – единственное любимое место Нины во всей квартире. Теперь она поставила туда маленький столик и по утрам пила кофе на табуретке между ванной и унитазом...

Эта проклятая квартира и съела Сережины силы, угробила его. Особенно ненавидела Нина камин. С технической стороны он не удался: дымоход был сделан кандидатом физ. – мат, наук, а не печником, – дым мгновенно наполнял всю квартиру и потом долго плавал едкими клоками. Сергей так и не успел его переделать, потому что к концу ремонта уже начались анализы, диагнозы, консультации и больницы...

Всего полгода он проболел скоротечным раком и умер, оставив врачей в медицинском недоумении: он был съеден метастазами, а первичного источника они так и не нашли. Но для Нины это уже значения не имело. Она осталась совсем одна, а по своей физиологической природе одиночества выносить не умела, испытывала состояние обезумевшей мухи, у которой оторвали крылья: крутилась, кружила на месте, а мир проваливался под ногами или падал куда-то вбок... И теперь это наваждение...

Предсказанное Сусанной Борисовной мистическое нападение явило себя самым низменным образом в один из следующих дней. Придя с работы, Нина обнаружила в самой середине тахты, на бежевом вязаном покрывале, отвратительную кучу самого что ни на есть материального свойства. Вонь в квартире стояла столь скверная, что казалось, будто даже воздух в доме приобрел тот самый коричнево-серый оттенок нечеловеческой тоски, который был знаком ей по сновидениям. Нина положила голову на руки, уронила свои грустные кавказские волосы и заплакала. Плакала она недолго, потому что пришла подруга Томочка. Томочка охнула, засуетилась, убрала кучу и объяснила ее происхождение:

– форточки открытыми не оставляй, это к тебе с крыши какой-нибудь бездомный кот повадился.

– Какой еще кот? – возразила Нина.

– Какой, какой... Большой кот, очень большой кот нагадил, – уверенно разъяснила Томочка.

Она знала, что говорила, – всю жизнь была кошатница.

Нина постирала покрывку, вымыла полы, дышать стало полегче, но до конца запах не выветрился, и они пошли ночевать к Томочке. Форточки перед уходом плотно закрыли.

На следующий день, когда Нина пришла после работы домой, куча лежала на прежнем месте, прямо на одеяле. Форточки по-прежнему были закрыты.

Действительно, мистика. Права была Сусанна Борисовна. Никакой кот в закрытую форточку не влезет.

Она снова принялась за стирку и мытье, вылила флакон дезодоранта и, трясась от нервного озноба, легла в оскверненную постель. К запаху она притерпелась, заснуть ей теперь мешали какие-то неясные, из неопределенного источника исходящие звуки...

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru)  
«Именно так и сходят с ума», – догадалась Нина.

Утром, уходя на работу, Нина накрепко заперла форточки и балконную дверь.

Однако возвращаться домой одна она не решилась, заехала за Томочкой, и в девятом часу пришли вдвоем. Нина открыла сложный замок двойной двери, вошла. Следом за ней Томочка. Он их ждал, как будто решил, что пришла пора представиться. Сидел в кресле, огромный, самоуверенный, щекастой мордой к двери. Нина тихо ойкнула. Томочка даже как будто восхитилась:

– Ну и котяра!

– Что делать будем? – шепотом спросила Нина.

– Как что? Кормить, конечно.

– Ты с ума сошла? Он же никогда отсюда не уйдет! Вон, опять нагадил. – Новая куча лежала посередине прихожей.

Это был, конечно, характер. И точный глаз. Он всегда безошибочно выбирал середину.

– Сначала надо дать поесть, а там видно будет, – решила Томочка.

Он был не пушистый, а, напротив, совершенно гладкошерстный и как будто асфальтовый. Сидел неподвижно, опустив слегка голову, смотрел на них стоячим звериным взглядом и, судя по всему, виноватым себя не чувствовал.

– Каков наглец, – возмутилась Нина, но вынула из холодильника кастрюльку старого супа, который она, повинувшись многолетней привычке, все варила, бросила туда две котлетки и шлепнула на плиту.

Потом Томочка поставила миску с подогретым супом возле двери, прямо на половик, и позвала его «ксс-ксс». Человеческий язык был ему знаком. Он тяжело прыгнул с кресла и медленно пошел к миске. Вид у него был внушительный. Если бы он был человеком, можно было бы сказать, что он идет как старый штангист или борец, ссутулившийся от тяжести мускулов, спортивной усталости и славы. Перед миской он остановился, понюхал, присел и, прижав к голове одно ухо – второе, драное, висело лопухом, – начал быстро жрать. Томочка же просительным голосом увещевала его:

– Ты поешь, котик, поешь и уходи. Уходи, нечего тут тебе делать. Поешь и уходи себе, пожалуйста.

Он оглянулся, развернувшись широкой грудью, и посмотрел на Томочку очень сознательным взглядом, потом снова уткнулся в миску. Съев все, дочиста оближал миску. Тут Томочка открыла перед ним входную дверь и твердо сказала:

– А теперь уходи.

Он все отлично понял, обманно шагнул в сторону двери, потом резко развернулся возле калашницы и, сделав молниеносный полукруг по квартире, шмыгнул под книжный шкаф.

– Не хочет уходить, – тоскливо сказала Нина. – Напрасно мы его накормили.

– Ксс-ксс, – страстно шипела Тома, но кот не реагировал.

Нина вынесла из ванной швабру и зло сунула под шкаф. Кот вылетел оттуда, метнулся по квартире раз-другой, а потом исчез под диванчиком, придвинутым спинкой к кухонному подиуму. Нина пошарила под диванчиком. Потом отодвинула его. Кота там не было. Он исчез. Подруги переглянулись.

Они постояли в молчании, переживая происшествие. Потом Томочка нагнулась и недоверчиво провела рукой по панели. Слегка нажала. Доска отошла. Это был лаз в плоский подпол, образовавшийся под кухней.

– Так вот где он у тебя живет, – обрадовалась простодушная Томочка, – а ты



Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
говоришь – мистика...

– Ужас какой... теперь его оттуда не выкурить...

– Надо немедленно забить доску, – с глупой решительностью вскочила Тома.

– Ты что, – собралась с умом Нина, – а если он там сдохнет? Представляешь, что будет? Дохлый кот в доме...

О, был бы жив Сережа, ничего бы этого не было... Все этой глупости...

– Валерьянку надо купить, вот что! Мы выманит его валерьянкой и тогда забьем, – воскликнула Тома. – Только валерьянки нужно побольше.

Валерьянки купили много, налили полное блюдечко и затаились. Томочка оказалась настоящим знатоком кошачьей души, через пять минут он вылез из-под отстающей панели, резво подбежал к блюдечку и вылакал его в один присест. А потом он пошел от блюдечка прочь, к своей дыре, раскачиваясь, как матрос на палубе. Потоптался, явно потеряв направление, нескладно развернулся и пошел к тахте, на которой затаились подруги. В Нине проснулись зачатки юмора:

– Сейчас закурить попросит...

Отсмеявшись, Томочка скомандовала:

– Все. Берем его и выносим. И немедленно забиваем дыру

Она снова зашипела свое «ксс», протянула к коту руки, но он метнулся в сторону. Нина подхватила его, он вывернулся и грузно шлепнулся об пол. Пьян-то он был пьян, но в руки не давался. Кот, судя по всему, пытался пробиться к дыре. Нина, как Александр Матросов, кинулась на амбразуру, прижала отошедшую доску своими голубоватыми пальцами.

– Тома, коробку в ванной возьми! – крикнула она, но кот как будто понял их замысел и решил отступить к балкону. С каждой минутой он делался все пьяней. – Дверь! Дверь балконную закрой! Он упадет оттуда!

Тома опередила кота, закрыла перед его носом балконную дверь, и не без труда они запихали его в картонную коробку из-под соковыжималки. Он орал низким голосом что-то ругательное и, может быть, даже матерное... Они выволокли коробку на двор, положили ее возле мусорного контейнера и открыли крышку. Он продолжал орать благим матом, но не вылезал. Женщины поспешили домой забивать дыру. И устроили себе маленький праздник по поводу освобождения от врага – выпили хорошего грузинского вина. Но ликовали они, как потом выяснилось, преждевременно.

Особая сила этого приходящего кота состояла в том, как легко он превращался из хамской скотины, позволяющей себе то, чего ни одна, даже слабоумная, кошка не позволяет в доме, в бесплотный призрак, как беспрепятственно он шмыгал между Нининым сном и ее обыденной жизнью, оставляя и там и тут смрад, страх и особого рода кошачество, которая как будто отрывалась от него самого и растекалась, оседая на вещах и проникая в Нину через воздух, через поверхность ее тела так глубоко, что она изводила флаконами шампуня и мыла, чтобы отмыть эту всепроникающую гадость. Сам он больше не появлялся, зато теперь снился почти каждую ночь, искусно меняя свой облик, но Нина научилась распознавать его в темном облаке, наползающем из угла, в ландшафте, имеющем к нему несомненное отношение, и даже в господине, которого она различала в толпе, как в прежние времена тайного агента.

Сусанна Борисовна, информированная о всех этих перипетиях, собиралась в Германию на коллоквиум или симпозиум и обещала Нине, что непременно обсудит эту ситуацию с самым компетентным специалистом во всей Европе.

Однажды ночью кот снова явился во плоти. Каким образом он проник в квартиру, осталось неизвестным. Лаз был забит, балкон и форточки закрыты, камин был вне подозрений, поскольку его прямой дымоход выходил непосредственно на крышу, и ни один кот, если он не насекомое, не смог бы преодолеть три с лишком метра абсолютно вертикальной трубы. Тем более, что к устью камина был придвинут экран. Вероятно, чтобы обнаружить тот потайной ход, которым воспользовался кот, надо

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) было бы разобрать весь этот старый дом. Кот влез на высоко подвешенную полку, накренил ее и сбросил таким образом всю тонкостенную черную керамику, чудо грузинского прикладного искусства, собранную Ниной еще в студенческие годы. Справившись с ужасом конца света, пережитым ею еще во сне, на фоне звенящего тусклым черным звоном обвала, Нина зажгла лампу и увидела, что пол завален черепками, а кот, не успевший раствориться одному ему известным способом, забился в угол и скалился оттуда наподобие цепной собаки. Это было столь мягкое продолжение ее кошмара, что она не сразу поняла, где находится – в новом сне или в собственном доме...

Нина собирала черепки и, не поворачивая головы, слабо причитала:

– Ну что ты за скотина такая... откуда такие бандиты берутся... зачем ты ко мне приходишь, что тебе надо, скажи...

Потом она вынула из холодильника полкурицы и вынесла на лестничную клетку:

– Иди ешь, и чтоб я тебя больше не видела!

Еды он, собственно, не требовал. Но и не отказался. Лениво пошел за курицей Нина закрыла за ним дверь. Она отлично понимала, что так просто он ее не оставит.

Через четыре дня он появился снова. Сидел в кресле как ни в чем не бывало, вроде бы на своем месте, а на середине бежевого покрывала, вымытого, выветренного на балконном воздухе, лежал убедительный знак его, кота, господства и над этой квартирой, и над самой Ниной.

Тем временем вернулась из Германии Сусанна Борисовна, позвала Нину в гости. Была Сусанна Борисовна на этот раз какая-то утихшая, благостная, в доме у нее пахло благовониями и богатством, горели свечи. На ужин она подала сухую ерунду, Нина бы постеснялась к такому столу звать человека. Зато сама Сусанна Борисовна была как вдовья королева: в лиловой одежде наподобие мантии, голова повязана фиолетовым шарфом в виде тюрбана, грим темный и такой уродливый, что заподозрить ее в кокетстве было никак невозможно. Поели синего салата из красной капусты, потом выпили бордового чая из шиповника, все в гамме, а потом Сусанна Борисовна объяснила Нине такую вещь, которая никому другому и в голову не пришла бы. Она подчеркнула, что это не только ее личное мнение, но и особое видение ее учителя. Получалось, что перед человеком ставятся определенные задачи, которые необходимо решать, и высшие силы, ангелы и прочие, а одновременно и здешние учителя, эти задачи решать помогают. Однако если человек противится, то задачи эти трансформируются во что-то кошмарное вроде болезни или, например, кота. И Нинин же кот есть на физическом плане проявление духовного неблагополучия, но возможно даже, что не в самой Нине дело, а, наоборот, в отношениях тех родственников, которые уже ушли...

– Это очень серьезно, Нина, требуется большая работа, я готова и сама вам помочь по мере возможностей, и познакомить вас с продвинутыми людьми, – заключила Сусанна Борисовна.

От этого разговора и от всей этой лиловости Нина почувствовала себя еще хуже и даже подумала, не сходить ли ей действительно с Томочкой в церковь, все-таки была она человек православный, крещена во младенчестве в старинном тбилисском храме святой Нины, и даже крестные родители имеются...

Опять Нина ночь не спала, и таблетки не помогали.

На следующий день Миркас, начальник Нины и друг покойного Сережи, велел зайти к нему после обеда. Он взял ее к себе в контору после смерти Сергея, платил хорошие деньги, хотя, когда брал, понятия не имел, как точна и аккуратна Нина в любой работе, а в делопроизводстве вообще царь и бог.

Он вызвал ее – и она забеспокоилась, не допустила ли какой оплошности. На прошлой неделе проходил очень сложный контракт, и она вполне могла что-то напутать. Но когда она вошла к нему в кабинет, он ее сразу ошарашил.

– Слушай, Нина, ты не больна? У тебя вид ну никакой...

Прежде они были на «ты», но теперь Нина старалась при разговоре строить фразу

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru) грамматически неопределенно, чтобы никак не обозначать их новые служебные отношения. Слишком давно они были знакомы, чтобы переходить обратно на «вы».

– Все ничего. Бессонница у меня.

Он осмотрел ее товароведческим взглядом: она была не в его вкусе, но, бесспорно, очень стильная. Худая, с ранней от кровенной сединой, всегда в черном... Конечно, длинный подбородок, впалые щеки, круги под глазами – но ведь есть, есть в ней что-то..

– Любовника заведи, – хмуро посоветовал он.

– Это служебное распоряжение или дружеская рекомендация? – Взгляд опустила, а подбородок вверх тянет. Дура, гордячка.

– Бессонница – тоже болезнь. Может, тебе отдохнуть надо? В Тунис, на Канары, куда там девушки отдыхать едут? Фирма оплачивает... Возьми неделю, десять дней. На тебя смотреть невозможно. – Он говорил не то раздраженно, не то брезгливо, а Нина все выше задирала подбородок.

Потом он скривился, сморщился и сказал хорошим человеческим голосом:

– Ну че, че у тебя случилось?.. Какие проблемы?

И тут гордая Нина закапала глазами:

– Ой, Толечка, не поверишь... Кот замучил...

Сбивчиво и путано Нина рассказала всю историю. По мере того как он слушал, сочувствие его, видимо, улетучивалось, и к концу рассказа он обычным своим начальничьим голосом отрубил:

– Значит, так. Как только появится, сразу звони мне на пейджер. Я с ним разберусь.

Слухи про Миркаса ходили такие, что разборки он производить умеет.

Возможно, до кота эти слухи тоже докатились, потому что он на глаза несколько дней не показывался, хотя своим вниманием Нинину квартиру не оставлял. Как-то, уйдя на работу, Нина не затворила дверцу шкафа, и подлец, конечно, воспользовался ее оплошкой, нагадил в шкаф. Бедной Нине пришлось волочь весь свой немалый гардероб в чистку, но и после ей все чудился кошачий запах, и это было ужасно.

Но все-таки настал день, когда кот как ни в чем не бывало встретил ее в кресле. Она сразу же позвонила Миркасу. Миркас приехал ровно через двадцать минут, и все это время глубоко подавленная Нина просидела в ванной на табуретке.

Ни слова не говоря, Миркас направился к креслу. Но эти ребята оказались равными противниками: Миркас схватил кота за шкурку, а тот вцепился ему в руку Раздался утробный рык, и совершенно непонятно было, кто его издал.

– О Господи! – ахнула Нина, увидев располосованную руку.

– Балкон! – рявкнул Миркас, и Нина, забежав вперед, открыла балконную дверь.

«И что толку? – успела подумать Нина, не поняв намерений Миркаса. – Все равно опять придет».

Окровавленный Миркас держал кота за шкурку, а кот драл его всеми четырьмя. Нина в ужасе прижалась к двери – крови она не выносила. Прохрипев тихое злое ругательство, Миркас размахнулся и швырнул кота через балюстраду балкона. Нина отчетливо уловила мгновение, когда кот после броска взлетел немного вверх, расправляя на ходу передние лапы и пригнув голову, потом как будто замер в позе космонавта в открытом космосе – и исчез из виду. И сразу же внизу раздался звук, как будто выплеснули таз воды. В темноте двора ничего видно не было.

Пока травмированная Нина промывала Миркасу рваные раны, тот только покачивал

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru)  
головой:

– Ну, зверюга... Таких отстреливать надо...

Вид у Миркаса был такой, будто он только что старушку топором зарубил.

Нина проспала всю ночь как убитая. Выспалась впервые за долгое время. Однако уже перед самым выходом из дому вдруг ужаснулась: а если мертвый кот лежит под ее балконом, как же она мимо пройдет?.. Хотя про кошек известно, что они умеют на лету равновесие держать, крутят хвостом как пропеллером и на все четыре лапы приземляются...

Но возле дома никакого мертвого кота не было, и вообще никого не было. Нина вышла из своего Чистого переулка и пошла в сторону Зубовской площади...

Кот, на время или навсегда, исчез. Настроение же у Нины делалось все хуже. Вероятно, Миркас его все-таки убил, и хотя кот был, конечно, большой подлец, но смерти ему Нина не желала. Хотела только, чтобы он исчез. Но теперь, после всего этого кошмара, казалось, наступило облегчение, а Нина, приходя с работы, как будто немного ждала, что эта поганая скотина сидит в ее кресле...

Тем временем приближалась годовщина Сережиной смерти. Принять надо было человек тридцать, и не как-нибудь, а по-хорошему. Миркас тоже про годовщину помнил. Всю неделю он ходил злой как черт, рука у него нарывала, кололи антибиотики, однако, проходя мимо Нининого стола, положил перед ней конверт:

– В ресторан зовешь или дома устраиваешь?

Гордость Нинина страдала ужасно – при Сереже ее так не унизили бы... Но опомнилась от приступа несуразной гордости, отвела свои бесподобные волосы с лица:

– Спасибо, Толя.

И купила еще поросенка, и угрей, и полкило икры...

Рано утром Томочка отправилась в церковь, заказала панихиду. Нина в церковь не пошла – Сережа всего этого при жизни терпеть не мог. Она поехала на кладбище. Повезла цветы. Памятник уже стоял, еще ранней весной Нина все устроила: большой черно-серый камень, грубый и простой...

Вечером все получилось как нельзя лучше – столы богатые и красивые, как Сергей любил. Пришли все, кого Нина хотела видеть: Сережины друзья, и его двоюродный брат с семьей, и одинокая золовка, которая Нину недолюбливала, и Миркас пришел со своей старой женой, неизбалованной Викой, а вовсе не с теми новенькими, которых у него столько развелось в последнее время, и Нина была этому рада. Пришел даже адвокат Михаил Абрамович, который защищал Сережу в давние времена, когда случились с ним большие неприятности. Адвокат с тех пор стал очень знаменитым, по телевизору постоянно выступал, а про годовщину не забыл... Все говорили про Сережу хорошие слова, отчасти даже и правдивые: о силе его характера, о смелости и мужестве, о таланте. Правда, сестра его Валентина ухитрилась как-то вставить, что Нина детей ему не родила. Но Нина и бровью не повела – это место в своей жизни она давно уже оплакала. И ему простила, что заставил ее, дуру, без памяти влюбленную... Вот мама никогда не простила. Да и что теперь об этом вспоминать, в тридцать-то девятьлет...

Гости ушли поздно, унося в животах неслыханное Нинино угощение и оставив после себя не до конца утративший парадную красоту стол и запах дорогих сигарет. Нина отправила Томочку домой: она захмелела, как школьница, и все норовила высказать что-то свое, особое, про Бога, отчего всем становилось неловко. Оставшись одна, Нина все убрала не торопясь, привычным образом разговаривая про себя с Сережей... Но он, привычным же образом, как и при жизни бывало, ничего не отвечал.

Легла она около четырех в чистую холодную постель, в клетчатое сине-зеленое белье, купленное в Берлине, куда они ездили с Сережей три года тому назад, в последнюю их совместную поездку. И хотя на этот раз она не приняла никаких таблеток, сразу же, как только согрелась, уснула и спала глубоко, гуляя глазами яблоками под темными веками, а под утро, когда начали оживать и тихонько шуметь от первого ветра ветви большой липы, прикасающиеся к перилам балкона, ей

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru  
приснился сон, самый удивительный сон в ее жизни.

Она стояла на верхнем этаже по-дачному большого дома, который был еще не достроен, потому что сверху были видны помещения нижнего этажа, какие-то балки, лестницы, и все это в несколько уровней, не совсем точно обозначенных, и вдруг она услышала пение. Женский голос пел старинную грузинскую песню. Бабушка, догадалась Нина, и сразу же увидела ее. Она сидела на маленькой табуретке, с которой свисала коричневая кисть положенной на нее подушки. Черная шапочка была надвинута на лоб, а темная ткань падала вдоль светлого лица. Она пела, но рот ее был сомкнут, губы неподвижны, и Нина опять очень легко догадалась, что это иное пение, не голосовыми связками образуемое, а другим органом, к горлу не имеющим отношения, но без которого вообще никакое пение невозможно. И как только она догадалась, из какой точки солнечного сплетения исходит пение, она услышала, что песня разделилась на два голоса: низкий, бабушкин альт, и второй, сопрано, ее потерянное сопрано, ее невозвратимое счастье, но даже еще лучше, чище и шелковистей, чем было у нее, когда еще она училась в консерватории. И звук возвращенного и обновленного голоса имел какую-то иную природу, потому что он притягивал к себе, как магнит притягивает железо, и светлый недостроенный дом стал вдруг заполняться людьми, среди которых не было незнакомых, хотя по имени Нина знала не всех. Это были они, серо-коричневые тени, но от звуков этого неведомого пения они осветлели и проявились, как на фотобумаге, и вот среди них она различила сначала маму, а потом и Сережу.

Нина спустилась к ним по лестнице в тот момент, когда они узнали друг друга в толпе и обнялись, как будто один ждал другого на перроне и поезд наконец пришел. Мама, худая, очень молодая, еще укрытая Сережиным широким объятием, вдруг увидела ее, засмеялась и закричала: «Нинико!».

Но звук маминого голоса был не сам по себе, он тоже был частью этой грузинской песни, хотя песня уже перестала быть грузинской, и слова ее, при полной их понятности, были на другом языке.

Сережа обхватил Нину за плечо, и запах его кожи, его волос обжег ее, и она видела, что и его ноздри напряглись и он опустил голову к ее волосам.

Кто-то легко пнул ее под колено, и она, оглянувшись, увидела огромного кота, который терся о ее ноги, требуя ласки. Это был он, треклятый кот, который попортил ей столько крови. Сергей нагнулся и погладил его по асфальтовой спине. Мама жестом родственной приязни поправила на Сереже загнувшийся борт пиджака... Но этого было мало: откуда-то сбоку, взявшись под руку, шли ей навстречу две ее подруги – Томочка и Сусанна Борисовна. И у них были такие прекрасные лица, что Нина, смеясь, поняла: прежде-то они обе были ужасные идиотки, но это было только временно...

Пиковая Дама

Разница в возрасте Мур и Анны Федоровны составляла стремительно уменьшающуюся величину. Неизвестно почему – то ли колесики в мировом часовом механизме поистерлись, то ли зубчики съелись, – только время стало катиться ускоренно, то и дело впадая в мерцательную аритмию, и так получилось, что по ходу движения этого ущербного времени, тридцать лет – если поместить их между шестьюдесятью и девяноста – уже почти ничего не значили. Анна Федоровна только замечала, что быстрые дела делаются все медленнее, но зато и на сон стало уходить меньше времени.

Проснулась она рано, если не сказать среди ночи, – четырех еще не было – от дурного сна. Взрослый мужчина, уменьшенный до размера большой куклы, лежал в ящике письменного стола и жаловался: «Мамочка, как же мне здесь плохо...»

Это был ее сын, и сердце ее сжалось от горя: ничем она ему помочь не могла...

Сына же на самом деле никакого не было, была дочь, и проснулась она в ужасе оттого, что сон был сильнее яви, и в первую минуту после пробуждения она была уверена, что сын-то у нее есть, но она про него совершенно забыла. Потом она зажгла свет, при свете наваждение рассеялось, и она вспомнила, что с вечера ей пришлось долго лазать по ящикам письменного стола в поисках некоторой потерянной бумаги, и от этих поисков и завязался дурацкий сон.

Анна Федоровна полежала немного и решила встать, тем более что бумажку ту она

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
вчера так и не нашла.

Теперь бумага отыскалась сразу же. Это был отзыв на диссертацию, который она давала лет десять тому назад, и теперь он вдруг понадобился.

Весь дом спал, и это было блаженство, не то дареное, не то краденое. Никто ничего от нее не требовал, нежданно-негаданно образовались свои личные два часа, и она теперь прикидывала, на что их потратит: книжку ли почитает, которую подарил ей давний пациент, знаменитый философ или филолог, то ли письмо напишет в Израиль задушевной подруге.

Она прибрала воробьиного цвета волосы и накинула старую кофточку поверх халата. Домашняя одежда ей всегда была не к лицу, в халате она выглядела дачной хозяйкой из пригорода. Считалось, что ей шли костюмы, которые она носила со студенческих лет. Теперь, в сером ли, в синем, она выглядела профессором, что полностью соответствовало действительности.

Анна Федоровна сварила себе кофе, раскрыла литературоведческую книжку своего знаменитого пациента, приготовила лист бумаги для письма и поставила рядом с собой синюю вазочку с конфетами, которых себе обыкновенно не позволяла. Она вдохнула с удовольствием запах кофе, но глотнуть не успела: на кухню, поскрипывая колесиками своей ходильной машины, с прямой, как линейка, спиной, явилась Мур.

Анна Федоровна нервно проверила пуговицы на кофточке – правильно ли застегнуты. Предугадать, что именно она сделала не так, она все равно никогда не умела. Если кофточка была правильно застегнута, значит, чулки она надела кошмарные, или причесалась не так. А что не так, если она всю жизнь проносила одну и ту же косу, свернутую колбаской на шее. Впрочем, утреннее замечание могло касаться чего угодно: занавески, например, грязные, или сорт кофе отвратительный, пахнет вареной капустой. Удивительна была лишь свежесть, с которой Анна Федоровна реагировала – извинялась, оправдывалась. Иногда даже пыталась опровергнуть замечание, но всегда потом себя ругала. К хорошему это не приводило, Мур только поднимала еще выше свои от природы высоко нарисованные брови, так что они прятались под розово-русой челкой, медленно двигала длинными веками и неодобрительно смотрела на Анну Федоровну глазами цвета пустого зеркала.

На этот раз, выкатившись на середину кухни, Мур молчала. Черное кимоно висело пустыми складками, как будто никакого тела под ним не было. Только желтоватые костяные кисти в неснимающихся перстнях да длинная шея с маленькой головой торчали, как у марионетки.

Всю жизнь, сколько себя помнит, Анна Федоровна заранее готовилась к общению с матерью. В детстве она замирала перед ее дверью, как пловец перед прыжком в воду. Ставши взрослой, она, как боксер перед встречей с сильнейшим противником, настраивалась не на победу, а на достойное поражение. В это предутреннее время мать захватила ее врасплох, и, не подготовив себя заранее, она впервые увидела ее отстраненно, как будто чужими глазами: перед ней стоял ангел, без пола, без возраста, и почти без плоти. Живая одним духом. Но каков был этот дух, Анна Федоровна знала преотлично. Зажимая в руке новенькую книжку, дух произнес:

– Какая глупость понаписана в этих воспоминаниях! Кто мне их подсунил? В шестнадцатом году мы еще жили с отцом в Париже. Я была девчонка. Диадему Каспари мне подарил в двадцать втором, я тогда была за ним замужем, а проиграла я ее в двадцать четвертом в Тифлисе. И никакого Каспари уже тогда не было, я была уже с Михаилом. Он был великий музыкант, – она хихикнула тонко и многозначительно, и Анна Федоровна поежилась, потому что дальше шла обыкновенная площадная лексика, и матери доставляло удовольствие именно это поеживание. – А вот вые...ть он никого толком не мог, – Мур нежно засмеялась, – с херакой у него обстояло из рук вон плохо. Там, в Тифлисе, я проиграла эту диадему в карты, а портрет, который Бакст писал, там диадема совершенно другая

Какая-то ерунда, театральный реквизит.

Это была лучшая страница ее воспоминаний – ее знаменитые любовники. Имя им было легион. Немало бумаги было измарано в честь ее бледных локонов и неизреченных тайн души лучшими перьями, а по ее портретам, хранящимся в музеях и частных собраниях, можно было бы изучать художественные течения начала века.

Тайна в ней, должно быть, действительно была, не одни только любовники млели над ней. Анна Федоровна, единственная дочь Мур, дитя ее редкой добродетельной причуды, всю жизнь билась над этой загадкой. Отчего ей была дана власть над отцом, младшими сестрами, мужчинами и женщинами и даже над теми неопределенными существами, находящимися в узком и мучительном зазоре между полами? Кроме обыкновенных мужчин с самыми простодушными намерениями в нее постоянно влюблялись феминизированные гомосексуалисты и сбившиеся со скучной женской дороги решительные лесбиянки. Ответа на этот вопрос Анна Федоровна найти не могла, но, подчиняясь неведомой силе, неслась выполнять очередную материнскую прихоть. А Мур, как беременной женщине, постоянно хотелось чего-то неизвестного, неопределенного – словом, поди туда, незнамо куда, и принеси то, незнамо что.

Люди, оказывавшие хоть какое-то сопротивление ее нечеловеческому обаянию, просто исчезали из виду: давно всеми забытый муж Анны Федоровны, муж внучки Кати и вся родня последнего мужа Мур... Их как бы и не было.

– У тебя кофе, – положив лживый томик перед Анной Федоровной, повела тонким носом Мур.

Пахло приятно, но ей всегда хотелось чего-то другого:

– Я бы выпила чашечку шоколада.

– Какао? – Анна Федоровна с готовностью встала из-за стола, не успев даже по сожалеть о неудавшемся мелком празднике.

– Почему какао? Это гадость какая-то, ваше какао. Неужели нельзя просто чашечку шоколада?

– Кажется, шоколада нет.

Не было в доме шоколада. То есть был, конечно, – горы шоколадных конфет в огромных коробках, преподнесенных пациентами. Но ни порошка, ни плиточного шоколада не было.

– Пошли Катю или Леночку. Как это, чтобы в доме не было шоколаду?! – возмутилась Мур.

– Сейчас четыре часа утра, – попыталась защититься Анна Федоровна. Но тут же всплеснула руками:

– Есть же, Господи, есть!

Она вытащила из буфета непочатую коробку, торопливо вспорол целлофан, высыпала горсть конфет и столовым ножом стала отделять толстенькие подошвы конфет от никчемной начинки. Мур, пришедшая было в боевое настроение, при виде такой находчивости сразу же угасла:

– Так принеси ко мне в комнату...

Осторожно обернув руку толстой держалкой, Анна Федоровна грела молоко в маленьком ковшике. Руки она берегла, как певица горло. Было что беречь: неширокая кисть с толстыми длинными пальцами, с овально подстриженными ногтями в йодистой окантовке. Каждый день запускала она вооруженные манипулятором руки в самое сердце глаза, осторожно обходила волокна натягивающихся мышц, мелкие сосуды, циннову связку, опасный шлеммов канал, пробиралась через многие оболочки к десятислойной сетчатке, и этими грубоватыми пальцами латала, штопала, подклеивала тончайшее из мировых чудес...

Золоченой маминой ложечкой она снимала тонкую молочную пенку с густого шоколада, когда раздался звон колокольчика: Мур подзывала к себе. Поставив розовую чашку на поднос, Анна Федоровна вошла к матери. Та уже сидела перед ломберным столиком в позе любительницы абсента. Бронзовый колокольчик, уткнувшись лепестковым лицом в лянлое сукно, стоял перед ней.

– Дай мне, пожалуйста, просто молока, безо всякого твоего шоколада.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
«Раз, два, три, четыре... десять», – отсчитала привычно Анна Федоровна.

– Знаешь, Мур, последнее молоко ушло в этот шоколад...

– Пусть Катя или Леночка сбегают.

«Раз, два, три, четыре... десять».

– Сейчас половина пятого утра. Магазин еще закрыт.

Мур удовлетворенно вздохнула. Узкие брови дрогнули. Анна Федоровна приготовилась ловить чашку. Подсохшая губа с глубокой выемкой, излучающая множество мелких морщинок, растянулась в насмешливой улыбке:

– А стакан простой воды я могу получить в этом доме?

– Конечно, конечно, – заторопилась Анна Федоровна. Утренний скандал, кажется, не состоялся. Или отложился. «Стареет, бедняжка», – отметила про себя Анна Федоровна.

Была среда. Поликлинический прием с двенадцати. Кате сегодня можно дать выспаться. Внуки по средам на самообслуживании: семнадцатилетняя Леночка перед институтом отводит маленького Гришу в гимназию. Заберет его Катя, но вернуться домой надо не позже половины шестого: с шести Катя работает, преподает английский в вечерней школе. Обед есть. До ухода надо молока купить. Звон колокольчика.

«Раз, два, три, четыре... десять».

– Да, Мур.

Тонкая рука держит металлические очки на весу изящно, как лорнетку.

– Я вспомнила, тут по телевизору, фирма Ореаль. Очень красивая девушка рекомендовала крем для сухой кожи. Ореаль. Кажется, это старая фирма. Да, да, Лилечка заказывала эти духи в Париже. Она хотела литровую бутылку, но ее бедный любовник прислал маленький флакончик, большой он не осилил. Но скандал был большой. А мне Маецкий привез литровую. Ах, что я говорю, то были Лориган Коти, а никакой не Ореаль.

Это было новое бедствие – Мур оказалась исключительно податлива на рекламу. Ей нужно было все: новый крем, новую зубную щетку или новую суперкастрюлю.

– Присядь, присядь, – благодушно указала Мур на круглый табурет от пианино.

Анна Федоровна присела. Она знала все круги, восьмерки и петли, наподобие тех, что в Гришиной железной дороге, по которым скользят паровозики старых мыслей, делая остановки и перекидки в заранее известных местах ее великой биографии. Теперь она включалась на духах. Далее шла подружка и соперница Лилечка. Маецкий, которого она у Лилечки увела. Известный режиссер. Съемка в кино, которая ее прославила. Развод. Парашютный спорт – никто и вообразить не мог, что она на это способна. Далее авиатор, испытатель, красавец. Разбился через полгода, оставив лучшие воспоминания. Потом архитектор, очень знаменитый, ездили в Берлин, произвела фурор. Нет, ни в ЧК, ни в НКВД, глупости, нигде никогда не служила, спала – да. И с удовольствием! Там были, были мужчины. А вы с Катюшкой – чулки меховые, жопы шершавые...

Сорок лет тому назад Анне Федоровне хотелось ее ударить стулом. Тридцать – вцепиться в волосы. А теперь она с душевной тошнотой и брезгливостью пропускала мимо ушей хвастливые монологи и с грустью думала о том, что утро, столь много обещавшее, у нее пропало.

Зазвонил телефон. Вероятно, из отделения. Что-то стряслось, иначе бы не позвонили так рано. Она поспешно сняла трубку:

– Да, да! Я! Не понимаю.. Из Йоханнесбурга? – Как не узнала сразу этот голос, довольно высокий, но вовсе не бабий, со скользящим "р" и с длинными паузами между словами, как бывает у излечившихся заик. Подбирает слова. Тридцать лет.



Сначала все нахлынуло к голове, и стало жарко, а через секунду прошиб пот и дикая слабость.

– Да, да, узнала.

Нелепый вопрос «как поживаешь?» через столько лет.

– Да, можно. Да, не возражаю. До свиданья. – Положила трубку. Даже от руки кровь отхлынула, ослабли и промялись подушечки пальцев, как после большой стирки.

– Кто звонил?

– Марек

Надо было встать и уйти, но сил не было.

– Кто?

– Муж мой.

– Скажи пожалуйста, он еще жив! Сколько же ему лет?

– Он на пять лет меня моложе, – сухо ответила Анна Федоровна.

– Так что ему от нас надо?

– Ничего. Хочет повидать меня и Катю.

– Ничтожество, полное ничтожество. Не понимаю, как ты могла с ним...

– У него клиника в Йоханнесбурге, – попыталась перевести стрелку Анна Федоровна, и ей это удалось. Мур оживилась:

– Хирург? Забавно! Хирургом был твой отец. Я попала в автомобильную катастрофу на Кавказе. Если бы не он, я бы потеряла ногу. Он сделал блестящую операцию. – Мур хихикнула:

– Я его соблазнила, будучи в гипсе...

Самое удивительное, что подробности были неисчерпаемы, – про то, что Мур вышла замуж на пари и выиграла бриллиантовую брошь у знаменитой подруги, Анна Федоровна давно знала, про гипс услышала впервые и прониклась вдруг недобрым чувством к давно умершему отцу, которого в детстве горячо любила. Он был на двадцать лет старше матери, последний, если не считать самой Анны Федоровны, представитель медицинской немецкой семьи, преданный своей профессии до степени, не совместимой с жизнью. Но хранил его случай. Когда-то в молодости, будучи врачом в уездном городе, он сделал трепанацию черепа молодому рабочему, погибавшему от гнояного воспаления среднего уха. При новой власти рабочий вознесся до самых не правдоподобных высот, но доктор Шторх, совершенно о нем забывший, не выветрился из памяти благодарного пациента, и тот дал ему своего рода охранную грамоту. Во всяком случае, служба его военным врачом в царской и впоследствии в Добровольческой армии не помешала ему умереть в своей постели честной и тяжелой смертью от рака.

– Скажи, пожалуйста, а этот Йоханнесбург в Германии?

Кому-то могло показаться, что мысли у старушки скачут, как голодные блохи, но Анна Федоровна знала об удивительной материнской особенности: она всегда думала о нескольких вещах одновременно, как будто плела пряжу из нескольких нитей.

– Нет. Это в Африке. Южно-Африканская Республика.

– Скажи пожалуйста, англо-бурская война, помню, помню... забавно. Так не забудь купить мне крем, – и провела слабыми пальцами по расплывающейся, как старый абрикос, коже.

В прежние времена Мур интересовалась событиями и людьми как декорацией

Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) собственной жизни и статистами ее пьесы, но с годами все второстепенное линяло и в центре пустой сцены оставалась она одна и ее разнообразные желания.

– А что на завтрак? – левая бровь слегка поднялась.

Завтрак, обед и ужин не относились к второстепенному. Еду следовало подавать в строго определенном часу. Полный прибор с подставкой для ножа, салфетка в кольцо. Но все чаще она брала в руки вилку и тут же роняла ее рядом с тарелкой.

– Не хочется, – с раздражением и обидой выговаривала она. – Может, тертое яблоко я съем, или мороженое...

Всю жизнь ей нравилось хотеть и получать желаемое, истинная беда ее была в том, что хотение кончилось, и смерть только тем и была страшна, что она означала собой конец желаний.

Накануне приезда Марек Катя допоздна убирала квартиру. Квартира была обветшалой, ремонта не делали так давно, что уборка мало что меняла: потолки с пожелтевшими углами и осыпавшейся лепниной, старинная мебель, требующая реставрации, пыльные книги в рассохшихся шкафах. Интеллигентская смесь роскоши и нищенства. Поздним вечером Катя и Анна Федоровна, обе в старых теплых халатах, похожие на поношенные плюшевые игрушки, сели на гобеленовый диванчик, такой же потертый, как и они сами.

Анна Федоровна привалилась к подлокотнику, Катя, поджав под себя тонкие ноги, забила матери под руку, как цыпленок под крыло рыхлой курицы. В Кате, хоть ей было под сорок, действительно было что-то цыплячье; круглые глаза на белесой перистой головке, тонкая шея, длинный нос клювиком. Птичье очарование, птичья бестелесность. Мать и дочь любили друг друга безгранично, но сама любовь препятствовала их близости: более всего они боялись причинить друг другу огорчение. Но поскольку жизнь состояла главным образом из разного рода огорчений, то постоянное умолчание заменяло им и тихую жалобу, и сладкие взаимные утешения, и совместные вслух размышления, и потому чаще всего они говорили о Гришином насморке, Леночкиных экзаменах или о снотворном для Мур. Когда же случалось в их жизни что-то значительное, они только прижимались теснее и еще дольше, чем обычно, молча сидели на кухне перед пустыми чашками.

– Перед отъездом он подарил мне микроскоп, маленький, медный, чудо какой хорошенький, – улыбнулась Катя, – а я его сразу же отнесла к Тане Завидоновой, помнишь, во втором классе со мной училась?

– Ты мне никогда про микроскоп не рассказывала, – Анна Федоровна, не поднимая глаз, поплотнее укуталась в халат.

– Мне казалось, ты расстроишься, если я его домой принесу... А Завидонова мне его так и не вернула. Может, ее отец пропил... Знаешь, я ведь его ужасно любила... А почему вы все-таки развелись?

Вопрос был трудный, и ответов на него было слишком много – как по ступеням в подпол спускаться, чем глубже, тем темней.

– Мы поженились и сняли комнату в Останкине, у просвирни. Плита у нее всегда была занята, но весь дом был в просфорах. Там ты и родилась. Твоя первая еда была эти просфоры. Мы прожили там четыре года. Мур с сестрами жила. Эва в городе, Беата на даче. Тетя Эва всю жизнь ее обслуживала, блузки крахмалила. Старая дева, тайная католичка, строга была необыкновенно, никому ничего не спускала, а Мур боготворила. Умерла внезапно, ей и шестидесяти не было. И мать меня сразу затребовала. Чужой прислуги не терпела.

– А почему ты ей не сказала «нет»? – резко вскинулась Катя.

– Да ей было под семьдесят, и диагноз этот поставили... Не могла же я бросить умирающего человека.

– Но ведь она же не умерла...

– Марек тогда сказал, что она бессмертна, как марксистско-ленинская теория. Катя хмыкнула:

– Остроумно.

– О да. Но, как видишь, он ошибся. Мама, слава Богу, даже марксизм пережила. А опухоль инкапсулировалась. Съела часть легкого и замерла. Я ухаживала за ней, тетя Беата за тобой. Она детей не выносила, тебя сразу в Пахру перевезли, только к школе забрали.

– А почему отец сюда с тобой не переехал?

– Об этом и речи не было. Она его ненавидела. Он так в Останкине и жил до самого отъезда.

– А разве тогда выпускали?

– Особый случай. Через Польшу. Мать его, коммунистка, бежала из Польши с ним и его старшим братом в Россию, отец остался в Польше и погиб. Семья была большая, многие спаслись, кто-то уехал в Голландию, кто-то в Америку. Я уже не помню, Марек рассказывал. У тебя целая куча родни по всему миру. Да и сам он, видишь, в ЮАР, – вздохнула Анна Федоровна.

– А что Мур? – продолжала запоздалое расследование Катя.

Анна Федоровна тихо засмеялась:

– Она вызвала на завтра маникюршу и велела погладить полосатую блузку.

– Да нет, я имею в виду тогда...

– Мур запретила мне переписываться. Однажды приехал какой-то израильтянин польского происхождения, привез мне несколько сот долларов и для тебя игрушки, одежды, она узнала и такой скандал мне закатила, что я не знала, куда деваться. Не знаю, чего я больше испугалась. В те времена за доллары просто-напросто сажали. Я этому поляку все вернула и просила Мареку передать, чтоб он нас поберег и ничего бы нам не слал.

– Какая все это глупость... – прошептала Катя снисходительно и погладила мать по виску.

– Да нет, это жизнь, – вздохнула Анна Федоровна.

Но осадок после разговора остался неприятный: Катя, кажется, дала ей понять, что она не правильно живет... Прежде такого она не замечала.

После многодневных морозов немного отпустило – начался снегопад, и Замоскворечье на глазах заносило снегом. Из нечеловечески высокого подъезда сталинского дома на мрачном гранитном цоколе вышел пожилой человек в толстенной дубленке и в треухе из двух лисиц сразу. Навстречу ему по широкой лестнице поднимался какой-то сумасшедший в бежевом пиджаке, красном шарфе, перекинутом через плечо, без шапки, в седых заснеженных кудрях.

Дверь еще не захлопнулась, и седой ловко обогнул крепко укутанного человека и юркнул в подъезд.

Вошедший позвонил в нужную дверь и услышал, как затопали чьи-то шаги прочь от двери, потом ясный женский голос закричал: «Гришка, отдай пластилин!». Затем он услышал легкий звон стекла, раздраженный возглас: «Да откройте же дверь!» – и наконец дверь открылась.

За дверью стояла крупная пожилая женщина, в глубине лица которой проклевывалось знакомое зернышко. Возможно, зернышком этим была небольшая лиловатая фасолинка на щеке, которая в давние годы выглядела милой и легкой родинкой. Женщина держала в одной руке отбитое горлышко стеклянной банки и смотрела на него с испугом.

В конце коридора, там, где он заворачивал к маленькой комнатке, стояла лужа, а в ней с тряпкой в руках – незнакомая девушка, приходящаяся вошедшему даже не дочкой, а внучкой. Была она очень высокой, нескладной, с узкими плечами и

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru круглыми глазами. Из дальней комнаты снова раздался крик: «Гришка, отдай пластилин!»

Гость вкатил за собой чемоданчик на колесах и остановился. Анна Федоровна, отсасывая кровь из порезанного пальца, сказала ему буднично:

– Здравствуй, Марек!

Он обхватил ее за плечи:

– Анеля, можно с ума сойти! Весь мир изменился, все другое, только этот дом все тот же.

Из дальней комнаты вышла Катя с упирающимся Гришей.

– Катюшка! – ахнул вошедший.

Это было давно забытое детское имя Кати, данное ей в те далекие времена, когда она была толстеньким младенцем.

Катя, глядя в его молодое загорелое лицо, гораздо более красивое, чем казалось ей по памяти, вспомнила, как сильно его любила, как стеснялась этой любви и скрывала ее от матери, боясь причинить ей боль. А теперь вдруг оказалось, что в глубине сердца эта любовь не забылась, и Катя смутилась и покраснела:

– Вот мои дети, Гриша и Леночка.

И тут он заметил, что у Кати немолодое морщинистое личико и ручки, сложенные лодочкой под подбородком, тоже уже немолодые. И он не успел еще разглядеть своих новообретенных внуков, как медленно открылась дверь в глубине квартиры и в дверном проеме, тонко позвякивая металлическими планками ходунков, появилась Мур.

– Пиковая Дама, – прошептал гость в величайшем изумлении. – Можно сойти с ума!

Он почему-то весело засмеялся, кинулся целовать ей руку, а она, подав великосветским движением сушеную кисть, стояла перед ним, хрупкая и величественная, как будто именно к ней и приехал этот нарядный господин, заграничная штучка. Своей наманикюренной ручкой отвела великосветская старушка всеобщую неловкость, и всем членам семьи стало совершенно ясно, как надо себя вести в этой нештатной ситуации.

– Ты чудесно выглядишь, Марек, – любезно заметила она. – Годы идут тебе на пользу.

Марек, не выпуская ее спасительной ручки, застрекотал по-польски

...Так случилось, что это был язык их детства, урожденной панны Чарнецкой, родившейся в одном из полуготических узких домов Старого Мясца, и внука аптекаря с Крохмальной, всему миру известной по разным причинам еврейской улицы Варшавы.

Катя переглянулась с матерью: и здесь Мур завладела вниманием прежде дочери, прежде внуков.

– Ты можешь зайти ко мне в комнату, – милостиво пригласила она Марека, как будто забыв, как сильно он не нравился ей тридцать лет тому назад. Но тут произошло нечто неожиданное.

– Благодарю вас, мадам. У меня всего полтора часа времени сегодня, и я хочу провести его с детьми. Я зайду к вам завтра, а сейчас, разрешите, я провожу вас в вашу комнату.

Она не успела возразить, как он решительно и весело развернул ее карету вместе с ней и ввез в будуар.

– У вас по-прежнему элегантно. Разрешите посадить вас в кресло? – предложил он тоном, в котором не было и намека на какую-то иную возможность.

Анна Федоровна, Катя и Леночка стояли в дверях наподобие живой картины, ожидая визга, вопля, битых чашек. Но ничего этого не последовало: Мур кротко опустилась в кресло. Он нагнулся, потрогал ее узкую стопу, всунутую в сухой туфелек из старой синей кожи, и сказал довольно строгим голосом:

– Ну нет, такую обувь вам совершенно нельзя носить. Я пришлю вам туфли, в которых вам будет отлично. Специальная фирма. Только пусть девочки снимут мерку.

Он оставил ее одну, прикрыл за собой дверь, и Анна Федоровна спросила его в совершеннейшем изумлении:

– Как ты можешь с ней так разговаривать?

Он небрежно махнул рукой:

– Опыт. У меня в клинике восемьдесят процентов пациентов старше восьмидесяти, все богатые и капризные. Пять лет учился с ними ладить. А матушка твоя – настоящая Пиковая Дама. Пушкин с нее писал. Ладно. Пойдем-ка, Гриша, посмотрим, что там в чемодане лежит.

И Гриша, немедленно забыв про пластилин, которым он только что так ловко залепил сток в раковине, потянул за собой ладный чемоданчик многообещающего вида.

Анна Федоровна стояла возле накрытого стола. Все происходящее как будто не имело к ней никакого отношения. Даже верная Катя не сводила глаз с загорелого лица Марека, и улыбка Катина показалась Анне Федоровне расслабленной и глуповатой.

«Как хорошо, – думала она, – что не покрасила волосы из того темного флакончика, который купила позавчера, он бы вообразил, что я для него моложусь. Но все-таки нехорошо, что я так распустилась, вот он уедет, и я покрашу».

Он оглянулся в ее сторону, сделал знакомый жест кистью руки, как будто играл в пинг-понг, – и Анна Федоровна вспомнила, как он ловко играл в пинг-понг, входивший в моду во времена их жениховства.

Легко и свободно он разговаривал с детьми. Катю он держал за плечо, не отпуская, и она млела под рукой, как корова.

«Именно как корова», – подумала Анна Федоровна.

Подарки были отличные – радиотелефон, фотоаппарат, какие-то технические штучки. Он вынул из внутреннего кармана своего ворсистого пиджака альбомчик с фотографиями, показал свой дом в Йоханнесбурге, клинику и еще один красивый двухэтажный дом на берегу моря, который он называл дачей.

Потом он посмотрел на часы, потрепал Гришу по затылку и спросил, когда он может прийти завтра. Он провел у них в доме действительно всего полтора часа.

– Мне бы хотелось пораньше. Можно? – он обратился к Анне Федоровне, и ей показалось, что он немного ее боится.

– Ты без пальто? – восхитился Гриша.

– Вообще-то куртка у меня в гостинице есть, да зачем она? Меня машина внизу ждет.

Дети смотрели на него с таким восхищением, что Анна Федоровна немного расстроилась и тут же сама устыдилась: все, в конце концов, так понятно, он всегда был обаятельным, а к старости стал еще и красивым... Но в душе у нее ныло от смутной горечи и недоумения.

Как это часто бывает, семейная традиция безотцовщины в каждом следующем поколении усиливалась. Собственно говоря, последним мужчиной – отцом в их семье – был старый Чарнецкий, потомок лютого польского воеводы, нежнейший родитель трех красавиц: Марии, Эвелины и Беаты.

Сама Анна Федоровна осталась сначала без матери, когда Мур бросила доктора

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
Шторха по мгновенному вдохновению, выйдя однажды из дому и как бы забыв вернуться. Через несколько дней она прислала за вещами первой необходимости, среди которых не значилась полуторагодовалая дочка. Новое замужество Мур было еще неокончательным, но уже в правильном направлении. Чутье подсказало ей, что время декадентских поэтов и неуправляемых героев закончилось. Первая проба Мур в области новой литературы была не самая удачная, зато последующие в конце концов увенчались успехом: образовался у нее настоящий советский классик, гений лицемерия в аскетической оболочке и с самыми нуворишскими страстями в душе. Показывая коллекцию фарфора, свежкупленного Борисова-Мусатова или эскиз Врубеля, он обаятельно разводил руками и говорил:

– Это все Муркины причуды. Взял бабу-то из благородных, теперь отдуваться приходится...

Последний брак был отличный, и маленькая Анна пребывала с родным отцом – до поры до времени о ней не вспоминали. Мур снова вошла в большую литературу, у нее был роман с главным драматургом, с очень заметным режиссером и несколько легких связей на хорошо оборудованном для этого фоне первоклассных южных санаториев. Построился, наконец, солидный дом в Замоскворечье, где квартиры выдавали не из плетейского счета на метродуши, а в соответствии с истинным масштабом писательской души. Но и здесь были какие-то бюрократические ограничения, пришлось прописать к себе обеих сестер, и решено было забрать девочку. К тому же Мур обнаружила, что принадлежащий ей классик неплатоническим оком взирал на пышных подавальщиц и молоденьких горничных, и решила, что пришла пора укрепить семью, дав возможность классику проявить себя в качестве родителя уже подростковой девочки.

Мур забрала у престарелого хирурга семилетнюю дочку.

Обожавшая отца девочка была перевезена из сладостно-ленивой Одессы в чопорную, только что полученную московскую квартиру и постепенно забывала отца, общаться с которым ей было теперь запрещено. По настоянию Мур девочке поменяли птичью немецкую фамилию на всесоюзно известную, велели звать толстого лысака «папой» и оставили на попечении второй тетки, пребывающей круглогодично на писательской даче. Через несколько лет наступили военные времена, эвакуация в Куйбышев, от которого остался во всю жизнь незабываемый ужас холода, возвращение в Москву в жарком правительственном вагоне и счастливая встреча с Москвой, именно в эти первые после возвращения месяцы ставшей для нее родным городом. Своего отца она так никогда больше и не видела и только смутно догадывалась о своем глубиннейшем с ним сходстве.

Дочь Анны Федоровны Катя сохранила о своем отце еще более смутные воспоминания. Это были обрывчатые, но крупным планом заснятые картинки: вот она, больная, с завязанными ушами, а отец приносит ей прямо в постель щенка... вот она стоит на крыльце и наблюдает, как он выживает из колодца с помощью длинной палки с крюком на конце утопленное ведро... вот они выходят из деревянного домика с горько-дымным запахом, идут по заснеженной дороге в огромный царский дворец, где большие окна от пола до потолка, изразцовые печи, картины на стенах и пахнет летом и лесом...

Приезды отца в Пахру, где Катя, как в свое время и ее мать, жила до школы, почему-то почти не запомнились. Сохранилось лишь одно яркое воспоминание: она, Катя, в пятнистой кошачьей шубе и меховой шапке идет по узкой тропинке к остановке автобуса, держась одной рукой за тетю Беату, другой – за отца. Автобус уже стоит на остановке, и она страшно боится, что он опоздает, не успеет в него влезть, и, вырвав свою руку, она кричит ему:

– Беги, беги скорей!

В том же году он и выполнил Катину рекомендацию.

Удивительно даже, на какую глубину была похоронена детская любовь: многие годы Катя совсем не вспоминала ни о нем, ни о честной немецкой вещице, пригодной для изучения клеток кожицы лука и лапок блохи...

Катина ранняя дочка Леночка и вовсе не помнила своего отца. Катя развелась с мужем через год после рождения Леночки. Алиментов она никогда от него не получала и только слышала от общих знакомых, что он жив.

Семья, до рождения Гриши, состояла из четырех женщин, но полное отсутствие мужчин никого, кроме Мур, не беспокоило. Мур, привычно рассматривавшая свою дочь Анну как существо бесполое, бесцветное и годное только на торопливое ведение домашнего хозяйства, недоумевала, отчего ее внучка Катя так скучно живет. Удивительный для Мур факт: откуда дети берутся при такой полнейшей женской бездарности? Ну прямо как животные: е...ся исключительно для размножения...

Мур была относительно Кати глубоко не права. У нее была на редкость удачная несчастная любовь, ради которой она и оставила своего первого невнятного мужа, и с предметом своей великой любви она изрядно мытарилась, родила от него Гришку и уже тринадцатый год бегала к своему совестливому любовнику на редкие свидания и откладывала с года на год момент настоящего, неодностороннего знакомства сына с тайным отцом. Семья – это святое, утверждал он, и Катя не могла с ним не соглашаться.

Безотцовщина, таким образом, стала в их семье явлением глубоко наследственным, в трех поколениях прочно утвердившимся. В голову ни Анне Федоровне, ни Кате, ни даже входящей в возраст Леночке не пришло бы в этот дом, целиком и полностью принадлежащий Мур, привести даже самого скромного, самого незначительного мужчину. Такого права Мур, полная великолепного пренебрежения к своим женским потомкам, за ними не оставляла. Анна Федоровна и Катя вполне смирились и с духом безотцовщины, и с женским одиночеством, а Леночка, девочка инфантильная как раз в той области, где с великой полнотой проявилась одаренность ее прабабушки, вообще об этом не задумывалась.

Тем острее почувствовала Анна Федоровна, как весь дом сошел с ума после первого же прихода Марек. Не только восьмилетний Гришка, но и дылда Леночка, в ту зиму почти уже дотянувшаяся до метра восьмидесяти, и сама Катя выбегали на звонок Марек с такой восторженной прытью, как будто за дверью стоял по меньшей мере Дед Мороз. Марек и держал эту безвкусную красно-белую ноту: над африканским загаром дымились ярко-белые кудрявые волосы, а вместо пошлого красного халата с белым ватным воротником был закинут вокруг шеи шерстяной шарф глубокого кровавого цвета и того высочайшего качества, которое материальные ценности почти превращают в духовные. Как и полагалось Деду Морозу, он был весел, румян и невероятно щедр на всякие угощения и подарки, а еще больше на обещания. Даже Мур проявляла к нему неумеренный интерес.

Давно не испытанное чувство личного унижения мучило Анну Федоровну. Марек, три дня тому назад вообще не знавший о существовании Гриши и Леночки, сегодня играл в их жизни такую роль: Леночка только о том и говорит, куда ей выехать на учебу, в Англию или в Америку, а Гриша бредит каким-то греческим островом, где у Марек дача – двухэтажная вилла, прислонившаяся спиной к розовой скале и глядящая в маленькую бухту с белой яхтой, припиленной посередине залива, как костяная брошка на синем шелке... Гриша распотрошил альбомчик с Марекowymi фотографиями, и цветные оттиски чужой нереальной жизни валялись по всей квартире, даже у Мур. Но, самое обидное, Катя ходила с дураковатой улыбкой и даже немного подмурлыкивала, в точности как ее бабушка... Ко всему прочему совестливая Анна Федоровна мучилась еще и тем, что носит в себе такие низменные чувства и не может с ними справиться.

На работе у Анны Федоровны тоже было неприятное происшествие. Один из самых тяжелых пациентов последнего времени, поступивший не планово, а по травме, молодой милиционер, был прооперирован на редкость удачно, и с определенностью можно было сказать, что по крайней мере один глаз спасен. И на днях он перетащил в холле телевизор из одного угла в другой, и вся ювелирная работа пошла насмарку, возникли новые разрывы на сетчатке, и теперь было совершенно неясно, сможет ли она снова спасти глаз этому дураку...

В Москву Марек приехал по делам. Все дело его сводилось к одной-единственной встрече с медицинскими чиновниками, и назначена она была именно на первый вечер его пребывания. Речь шла о каком-то специальном оборудовании для послеоперационного ухода за больными, к производству которого он имел отношение. Как сам он сказал позднее, переговоры эти были для него предлогом, чтобы повидать дочь. Ту первую попытку наладить связь с бывшим семейством он не возобновлял все эти годы: он имел слишком большой опыт общения с советской властью и в ее русском, и в польском варианте.

Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru)  
От этой поездки он ожидал чего угодно, но никак не рассчитывал встретить таких простодушных и трогательных детей, собственно, его семью, которая прекрасно без него обходилась и знать про него ничего не знала.

Даже старая гримза вызвала в нем тень нежности и интереса. В этот день он провел с ней несколько часов: так случилось, что Гриша пошел скакать на очередную елку к однокласснику, а Леночка отправилась заваливать очередной зачет.

Марек, хитрая bestия, задал Мур очень удачный вопрос – о сталинской премии, некогда полученной классиком. И Мур пустилась в приятные воспоминания. Последний успех мужа совпал с новым взлетом Мур – целой обоймой ярких успехов на смежной ниве: бурный роман с тайным генералом, держащим весь литературный процесс в своем волосатом кулаке, шашни с мужниным секретарем, с мужем любимой подруги, каким-то биологическим академиком, и еще, и еще, и свидетельницей всему – насупленная дочь Анна с пуританской тоской в душе и с глубоким отчаянием, испытываемым из-за невозможности любить и неспособности не любить эту тонкую, нечеловечески красивую, всегда театрально разодетую женщину, которая приходится родной матерью.

Рассказывала Мур разбросанно, избирательно, сыпала именами и деталями, но картина перед Марекком рисовалась с полной отчетливостью. К тому же многое он знал от Анны...

Пережив воспеваемого вождя совсем ненадолго, в очередной и последний раз продемонстрировав завистливым коллегам гениальную предусмотрительность, своевременно умер классик. Его положили под тяжелым серым камнем на Новодевичьем кладбище, и жизнь Мур на некоторое время поскущнела. Денег, впрочем, было немерено, и они все притекали рекой – авторские, постановочные, потиражные. Другая бы жила себе спокойно, но Мур что-то заволновалась, романы наскучили, опреснели, желания потеряли прежнюю упругость, между пятьюдесятью и шестьюдесятью оказались скучные годы. Потом она объясняла это климаксом. Но климакс благополучно завершился. Мур сделала две небольшие, по тем временам редкостные операции, подруга Верочка, знаменитая киноартистка, дала своего доктора, – и пошло некоторое освежение. Разумеется, роман. Ослепительный, невиданный, с молодым актером. Сорок лет разницы. Все рекорды побиты, все простыни смяты, подруги в богадельнях и больницах, некоторые дотягивают последние годы ссылки, а она, живая, острогрудая, с маленькой попкой и отремонтированной шеей принимает красивого цыганистого мальчика, юная жена которого беснуется в парадном. Москва гудит, жизнь идет...

И здесь произошел сбой. Не правдоподобно быстро спился мальчик-актер, посыпались одна за другой подруги, дочь Анна ушла из дома, вышла замуж за тощенького студента, еврея, – как этого Мур с детства не любила. То есть пусть, конечно, живут, не в газовые же камеры, но ведь и не замуж...

«Интересно, очень интересно, за кого она меня принимает?» – думал Марек, но никаких вопросов не задавал. Внимательно слушал.

...Бывшие любовники все поумирали один за другим, и генералы, и штатские. И досаднее всего – сестра Эва, на десять лет моложе, верная, преданная... Пришлось Анну вернуть в дом, вскоре и Катю поселили. Не успела оглянуться, полон дом детей, ничтожная жизнь, без веселья, без интересов...

Зайдя в комнату к матери, чтобы убрать чайные чашки, Анна Федоровна отметила про себя, что у Мур такой же счастливый вид, что и у детей, и, сверх того, она находится в состоянии полной боевой готовности: голос на октаву ниже, чем обычно, мурлыкающий, глаза как будто на два размера шире, спина прямой, если это только возможно. Тигрица на охоте – так называла Анна Федоровна мать в такие минуты. Марек же сидел с туманной улыбкой.

Шел последний вечер семейного экстаза, в котором Анна Федоровна старалась принимать наименьшее участие. Гриша висел на Марекке и время от времени отлипал, но только для того, чтобы, разбежавшись, повыше на него вскочить и поплотнее к нему прижаться. Леночка полным ходом шла к провалу сессии, но занятия в эти решающие дни она забросила, тенью ходила за новеньким дедом. Поскольку заманчивая Англия отбила аппетит к отечественной науке, она не испытывала ни малейшего беспокойства по поводу завтрашнего экзамена. На Катю Анна Федоровна старалась не смотреть: выражение лица было невыносимым.



В двенадцатом часу Марек, простившись со всеми, зашел к Мур. Придерживая ступнями теплую грелку, она смотрела телевизор и ела шоколад. Это был один из основополагающих принципов: одно удовольствие не должно мешать другому. Что же касается грелки, против которой последние тридцать лет возражала Анна Федоровна, Мур с юных лет привыкла укладываться в подогретую постель даже в тех случаях, когда теплый пузырь был не единственным ее ночным спутником.

Почтительно склонившемуся перед ней Мареку она снисходительно протянула узкий листок, исписанный до половины шаткими буквами:

– Это тебе, дружок. Там мне кое-что нужно.

Марек не глядя сунул листок в карман:

– С большим удовольствием...

Он знал, как обращаться со старухами. Он вышел, Анна Федоровна замешкалась, поправляя торчком стоявшие за спиной Мур подушки.

Мур, облизнув замазанный шоколадом палец, загадочно улыбнулась и спросила вызывающе:

– Ну, теперь ты видишь?

– Что? – удивилась Анна Федоровна. – Что я вижу?

– Как ко мне относятся мои любовники! – ухмыльнулась Мур.

«Первые признаки помрачения», – решила Анна Федоровна.

Дети хотели проводить его до гостиницы. Остановился он неподалеку, в бывшем «Балчуге», который преобразился за последние годы во что-то совершенно великолепное, вроде того хрустального моста, который перекидывается по волшебному слову за одну ночь с одного берега на другой.

– Нет, будем считать, что уже попрощались, – объявил он неожиданно твердо, и Гриша, привыкший канючить по любому поводу и отканючивать свое, сразу покорился.

Марек намотал на шею нестерпимо красный шарф и перецеловал в последний раз детей так естественно, как будто не пять дней тому назад с ними познакомился. Потом он снял с вешалки оплешивевшую на груди шубу Анны Федоровны и сказал своим безапелляционным тоном:

– Пройдемся напоследок.

Анна Федоровна почему-то покорилась, хотя за минуту до того и не думала выходить с ним на улицу. Слова ни говоря, она впялилась в шубу, накинула оренбургский дареный платок – брала она подарки, если ей их приносили: коробки конфет, книги, конверты с деньгами. Брала и сдержанно благодарила. Но цен за свои операции никогда не назначала, то есть вела она себя в этом отношении точно так, как ее покойный отец. О чем и не догадывалась.

На улице он взял ее под руку. Из Лаврушинского переуллка они вышли на Ордынку. Было чисто, бело и безлюдно. Редкие прохожие оглядывались на сухощавого иностранца, в одном светлом пиджаке не спеша прогуливающего упакованную в толстую шубу немолодую гражданку, которая никем не могла ему приходиться: для домработницы слишком интеллигентна, для жены стара и дурно одета.

– Какой прекрасный город. Он почему-то остался у меня в памяти сумрачным и грязным...

– Он разный бывает, – вежливо отозвалась Анна Федоровна.

«Зачем ты приехал, – подумала она, – все перевероршил, всех встревожил?». Но этого не сказала,

– Пойдем куда-нибудь посидим, – предложил он.

– Куда? Ночью? – удивилась она.

– Полно всяких ночных заведений. Здесь неподалеку чудесный ресторанчик есть, мы вчера с детьми там обедали...

– Тебе завтра вставать чуть свет, – уклонилась Анна Федоровна.

Марек улетал ранним рейсом, сама она вставала в половине седьмого. Ссылка на завтрашний день успокоила ее. Он уедет, все войдет в колею, кончится это домашнее возбуждение.

– Я хочу пригласить детей на лето в Грецию. Ты не возражаешь?

– Не возражаю...

– Ты ангел, Анеля... И самая большая моя потеря...

Анна Федоровна промолчала. Зачем она только вышла с ним! Из многолетней привычки к домашнему подчинению... Надо было отказаться...

Он почувствовал ее внутреннее раздражение, схватился тонкой перчаткой за ее пухлые варежки:

– Анна, ты думаешь, я ничего не вижу и не понимаю? Опыт эмиграции очень тяжелый, очень. А у меня их было три. С польского на русский, с русского на иврит, последние пятнадцать лет английские... И каждый раз проживаешь все заново, от азбуки... Много всего было. И воевал, и голодал, даже и в тюрьме посидел...

Каким он был милым мальчиком, студентом-третьекурсником, нисколько не похожим на крепких самцов, исполняющих бодрый обряд собачьей свадьбы возле ее матери. Она, по аспирантским обязанностям, вела тогда студенческий кружок, и роман их завязался между колбочками и палочками. Долго и тщательно она скрывала ото всех их отношения. Стыдно было, что он такой юный. Но именно его юность, отсутствие в нем агрессивного мяса бессознательным образом ее и привлекали. У него была белая безволосая грудь и слева, возле соска, располагалось созвездие родинок – ковшик Большой Медведицы. Он так и остался единственным мужчиной в ее жизни, но она никогда не пожалела ни о том, что был он единственным, ни о том, что именно он... Но всегда знала, что брак для нее случайность. Лет в шестнадцать она решила, что никогда не выйдет замуж: не было для нее ничего противнее, чем мурлыкающий голос, возбужденный смех и протяжные стоны из материнской спальни... вечный гон, течка, течка... На мгновение она провалилась в сильнейшее детское ощущение несмыслимой грязи секса, когда неловко было смотреть на любую супружескую пару, потому что тут же возникала картинка, как они, потев и стеноя, занимаются этой мерзостью... Как прекрасно быть монахиней, в белом, в чистом, без всего этого... Но какое счастье все-таки, что Катя есть...

Марек что-то говорил, говорил, но это пролетало мимо, как снег. Но вдруг она очнулась от его запинаящихся слов:

– ...настоящее чудо, как проклятье превращается в благословение. Это чудовище, гений эгоизма, Пиковая Дама, всех уничтожила, всех похоронила... И как ты это несешь? Ты просто святая...

– Я? Святая? – Анна Федоровна с ходу остановилась, как будто на столб наткнулась. – Я ее боюсь. И есть долг. И жалость...

Он приблизил к ней свое лицо, и видно стало, что он вовсе не так молод, что кожа у него старческая, в мелких острых морщинках и темных старческих веснушках под всесезонным загаром:

– Ну чем, чем я могу тебе помочь?

Она махнула серой варежкой:

– Домой проводи...

Звонил Марек из своего Йоханнесбурга так часто, как не звонили приятельницы из

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](mailto:ulitskaya@ludmila.ru) Свиблова. Гриша страстно ожидал его звонков, коршуном кидался на телефонную трубку и кричал всем без разбору: «Марек! Это ты?». Леночка занималась только английским и примеривалась на отъезд. В ней вдруг проснулась прежде не свойственная ей деловитость, она толково и придирчиво выбирала себе место для будущей учебы. Даже Катя, всегда спокойная и немного сонная, ждала неопределенных перемен, так или иначе связанных с появлением отца, и, кажется, немного поохладела к своему тайному другу, который, напротив, начал вялые разговоры о возможном его уходе из семьи.

Марек с энтузиазмом принялся за выполнение своих рождественских обещаний. Первыми ласточками были совершенно ортопедического вида туфли для Мур. Они были исключительно уродливы и, вероятно, столь же исключительно удобны. Их принес прямо домой чуть ли не секретарь израильского посольства, старинный друг Марека. Мур их даже и не примеряла, только хмыкнула. Туфли были на школьном каблуке и на каких-то стариковских резиночках, а Мур последние семьдесят лет носила только открытые лодочки на изящных, по мере возможностей текущей моды, каблуках.

За парой туфель последовала пара маленьких компьютеров, причем размер их находился в обратной пропорции с ценой. Позаботился он также и о компьютерных играх для Гриши. Леночка еще не оправилась от той любительской кинокамеры, которую он оставил ей перед отъездом, еще не успела насладиться тем особым ракурсом мира, который открывается через видеоискатель, а новый подарок уже подгонял ее, требовал скорее научиться всему тому, что с его волшебной помощью можно было делать.

Наконец, через шесть недель после отъезда Марека, пришло приглашение из Фессалоник, подписанное некоей Евангелией Даула, приходившейся близкой подругой Марековой жене, о которой только и было известно, что у нее есть подруга-гречанка, которая и пришлет приглашение...

Приглашение было составлено таким образом, что они могли ехать в любое время с июня по сентябрь.

Гриша, восхищенный до седьмого неба одним видом конверта с прямоугольным окошечком, носился с ним по квартире, пока не натолкнулся на Мур, направлявшуюся на кухню в своем металлическом снаряде. Он сунул ей в лицо конверт:

- Смотри, Мур, мы едем в Грецию, на остров Серифос! Нас Марек пригласил!
- Глупости какие! – фыркнула Мур, которая никогда никаких скидок на возраст не делала. – Никуда вы не поедете.
- А вот поедем, поедем! – подсакивая от возбуждения, кричал Гриша.

И тогда Мур оторвала руку от поручня своих ходунков и протянула восьмилетнему правнуку под нос великолепную фигу с сильно торчащим вперед ярко-красным ногтем большого пальца. Второй рукой она ловкохватила приглашение из рук опешившего мальчишки, не ожидавшего такого дерзкого нападения. Опершись локтями о перильца, она скомкала конверт и бросила плотный, как хороший снежок, бумажный ком прямо к входной двери...

– Гадина! Гадина! – взвыл Гриша и кинулся к двери.

Катя выскочила из комнаты, схватила сына, не понимая, что произошло между сыном и бабушкой. Гриша расправлял какую-то бумажку и продолжал выкрикивать неожиданные слова:

– Гадина поганая! Сука гребаная!

Приспустив печальные веки, Мур с тихой укоризной обратилась к внучке:

– Забери своего выблядка, деточка. Деточка, детей надо воспитывать, – поскрипывая колесиками, поехала на кухню.

Катя, еще не догадываясь, что за комок бумаги теревит рыдающий Гриша, уволокла его в комнату, откуда еще долго раздавались всхлипы.

В тот день Анна Федоровна пришла с работы усталой более, чем обычно, – есть

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) вещи, которые утомляют человека гораздо более, чем сама работа. Привезли очень тяжелую девочку. В детском отделении не было врача соответствующего профиля и квалификации. Девочка была Гришиного возраста, с осколочным ранением. Операция была очень тяжелая.

Складывая в футляр прибор для измерения кровяного давления, Анна Федоровна размышляла: откуда у Мур берется энергия? При таком давлении она должна была испытывать сонливость, слабость... А тут агрессивность, острота реакций. Вероятно, вступают какие-то иные механизмы. Да, геронтология...

– Да ты меня не слушаешь! О чем ты думаешь? Я против, ты слышишь меня? Я не была в Греции! Никуда они не поедут! – Мур теребила Анну Федоровну за рукав.

– Да, да, конечно. Конечно, мамочка.

– Что – конечно? Что ты мамкаешь? – взвизгнула Мур.

– Все будет, как ты захочешь, – успокаивающим тоном сказала Анна Федоровна.

«Нет, дорогая моя, на этот раз – нет», – твердо решила Анна Федоровна. В первый раз в жизни. Слово «нет» еще не было произнесено вслух, но оно уже существовало, уже проклюнулось как слабый росток. Она решила просто поставить мать перед фактом семейного неповиновения, никаких предварительных разговоров по этому поводу не вести. Можно было только догадываться, какую бурю поднимет это прозрачное насекомое, когда выяснится, что дети уехали.

К началу июня были готовы иностранные паспорта, получены визы. На двенадцатое июня были заказаны билеты до Афин. На этот же день, в соответствии с тонкой стратегией Анны Федоровны, был назначен переезд на дачу. Продумано было все до мельчайших деталей: утром Катя с детьми уедет в Шереметьево, что не должно вызвать никаких подозрений, поскольку Катя всегда отправлялась на дачу заранее, чтобы подготовить дом к приезду Мур. На двенадцать была вызвана машина для перевозки на дачу Мур и Анны Федоровны. Суматохой переезда Анна Федоровна надеялась смягчить удар, тем более что и дачные сборы удачно маскировали преступный побег. Гриша и Леночка были просто раздуты ожиданием, особенно Гриша. Полугреческий дедушка объявился очень кстати. Все Гришины одноклассники уже побывали за границей, он был чуть ли не единственным, кого не вывозили никуда дальше Красной Пахры. Да и сам дедушка, седой, кудрявый, стоящий на борту белой яхты, был предъявлен всему классу и удачно компенсировал отсутствующего отца.

В ночь накануне отъезда Анна Федоровна и Катя почти не спали. Под утро позвонил Марек, сказал, чтоб лишнего барахла не брали, в Греции, как известно, все есть, что он ждет не дожидается и встретит в аэропорту.

В половине восьмого Мур потребовала кофе. Утренний кофе шел с молоком, а послеобеденный полагался черным. Анна Федоровна помогла Мур одеться и сварила кофе. После чего обнаружила, что молочный пакет в холодильнике пуст. Это была Леночкина безалаберность, она вечно засовывала в холодильник пустые пакеты. Время подходило к восьми. Такси в Шереметьево было заказано на половину девятого.

Анна Федоровна, в синем домашнем платье, в шлепанцах на босу ногу выскользнула из дому – побежала на Ордынку за молоком. Это занимало никак не больше десяти минут. Она припустила поначалу легкой рысью, но вдруг замедлилась – утро было необыкновенным: дымчатый, чуть голубоватый свет, небо переливчатое, как радужная оболочка огромного, самого синего глаза, и чистейшая зелень прибранного скверика возле уютной округлой церкви всех Скорбящих, куда Анна Федоровна изредка заходила. Она пошла медленно и вольно, как будто никуда не торопилась. Продавщица Галя, местная ордынская татарка, проработавшая всю жизнь в здешних магазинах, ласково поздоровалась. Лет пятнадцать тому назад Анна Федоровна оперировала ее свекровь.

– Как Софья Ахметовна?

Удивительно, как при таком количестве золотых зубов улыбка получается робкой и детской...

– Оглохла совсем, ничего не слышит. А глаза видят!

Анна Федоровна взяла в руки прохладный пакет молока. Через пятнадцать минут уедут дети, а еще через два часа Мур узнает, что они уехали. Скорее всего, это будет уже в Пахре. Она представила себе побледневшие глаза Мур, тихий хрипловатый голос, повышающийся до звонкого стеклянного крика. Осколки разбитой посуды. Самый подлый, самый нестерпимый мат – женский... И увидела вдруг как уже совершенное: она, Анна, размахивается расслабленной рукой и наотмашь лепит по старой нарумяненной щеке сладкую пощечину... И совершенно все равно, что после этого будет...

Чувство чудесной свободы, победы и торжества стояло в воздухе, и свет был таким напряженно ярким, таким накаленно ярким. Но тут же и выключился. Осознать этого Анна Федоровна не успела. Она упала вперед, не выпуская из рук прохладного пакета, и легкие шлепанцы соскользнули с ее сильных и по-немецки прочных ног.

Мур в это время уже бушевала:

– Дом полон бездельников! Неужели нельзя купить бутылку молока?

Голос ее был прозрачно-звонкий от ярости.

Катя посмотрела на часы: до приезда такси оставалось пятнадцать минут. «Куда подевалась мать?» – недоумевала она. Но делать было нечего, и она побежала за молоком.

Знакомая продавщица Галя металась по тротуару. Реденькая толпа собралась перед входом в магазин. Там, на тротуаре, лежала женщина в синем звездчатом платье. «Скорая помощь» пришла минут через двадцать, но делать ей уже было нечего.

Катя, прижимая к груди все еще прохладный пакет молока, твердила про себя: молоко, молоко, молоко... до тех пор, покуда ее не послали за материнским паспортом. И, уже подходя к дому, повторяла: паспорт, паспорт, паспорт...

В доме Катя застала шумный скандал. Шофер такси, ожидавший их внизу, как было уговорено, минут двадцать, поднялся в квартиру узнать, почему не спускаются те, кому надо ехать в Шереметьево.

Гриша, дрожащий от нетерпения, как щенок перед утренней прогулкой, завопил счастливым голосом:

– Ура! Мы едем в Шереметьево!

Мур, покачиваясь в своей металлической клеточке, вышла в прихожую и догадалась, что ее хотели обмануть. Она забыла и про кофе, и про молоко. В выражениях, которые даже шофер слышал не каждый день своей жизни, она объявила, что никто никуда не едет, что шофер может убираться по адресу, который привел шофера, молодого парня с дипломом театрального института, в чисто профессиональное возбуждение, и он прислонился к стене, наслаждаясь неожиданным театром.

– Где эта п...головая курица? Кого она хотела обмануть? – Она подняла вверх костлявую кисть, рукав ее старого драгоценного кимоно упал, и обнажилась сухая кость, которая, если верить Иезекиилю, должна была со временем одеться новой плотью.

Катя подошла к Мур и, размахнувшись расслабленной рукой, наотмашь вlepила по старой, еще не окрашенной щеке сладкую пощечину. Мур мотнулась в своей клеточке, потом замерла, вцепилась в поручни капитанского мостика, с которого она последние десять лет, после перелома шейки бедра, руководила всеобщей жизнью, и сказала внятно и тихо:

– Что? Что? Все равно будет так, как я хочу...

Катя прошла мимо нее, на кухне вспоролa пакет и плеснула молоко в остывший кофе.

Голубчик

В те самые годы, когда Гумберт Гумберт томился по своей неполнoвозрелой возлюбленной и строил бесчеловечный план женитьбы на бедной Гейзихе, на другом конце света Николай Романович, одинокий профессор философии (или той науки,

Пиковая дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru) (которая претендовала так называться), также пораженный любовным недугом, идущим вразрез с общепринятыми нормами, женился на даме, которая и в своем золотом сне не могла бы претендовать на такую блестящую партию. Собственно говоря, Антонина Ивановна несколько не была дамой, и даже гражданкой могла считаться лишь с натяжкой. Она всепроцентно относилась к категории теток, работала в ту пору сестрой-хозяйкой, по-старому кастеляншей, в кардиологическом отделении, куда упомянутый профессор поступил как плановый больной в соответствии со своей стенокардией.

Мягкая тетеха, даже не курица, а серенькая индюшка, расширяющаяся книзу от маленькой головки до толстенных ног, разводка, тайно выпивающая, жила Антонина Ивановна в девятиметровке с малолетним сыном. Зарплата была самая ничтожная, она легонько, по мере возможностей, подворовывала, сама себя стыдясь. Словом, порядочная была женщина. Вначале января, по причине школьных каникул, она стала водить своего мальчонку с собой на работу, и бледноволосый отрок, сидевший в бельевой и выглядывавший из-за материнской спины белейшим лобиком со светлыми щеточками у основания бровей, сразил профессора в самое его больное и порочное сердце.

Возможный пассаж о связи этих двух явлений, болезни и греха, об их тонких взаимных касаниях и перетеканиях оставляем на рассмотрение психоаналитиков и святых отцов: и те и другие на этих опасных просторах вволю попаслись.

Николай Романович прогуливался часами по больничному коридору и заглядывал в приоткрытую дверь бельевой, ухватывая нацеленным взглядом то острый локоток в штопаном синем свитере, легко елозящий по столу (он что-то рисовал), то мелькающие штуки пожелтевшего от автоклавирувания казенного белья. А то вдруг и предстанет в просвете двери во весь рост светлое изящное существо, настоящий гаремный мальчик, ну разве что чуть-чуть не дорос, еще два-три годика набрать. Двенадцать – сладчайший возраст...

Иногда мальчика кормили в столовой для ходячих больных, и он сидел за угловым столиком, где наспех ели врачи. Спинка прямая, серьезный, испуганный. Николай Романович хорошо разглядел его бледно-голубые глазки, немного косящие, когда он смотрел вправо, и белесые ресницы, пушистые, как созревшее одуванное семя.

– Тоня! Тоня! – позвала кастеляншу старшая сестра, заглянув в столовую, и Антонина Ивановна отозвалась ласковым рыхлым голосом:

– Аюшки!

Вот как раз при звуке этого голоса Николая Романовича и произошло озарение: а не попробовать ли устроить свою жизнь иным способом?.. Конечно же она домашний человек, экономка, няня... На основании честного брачного договора: ты – мне, я – тебе.

Шел Николаю Романовичу пятьдесят пятый год, возраст почтенный. Так и запишем: никаких постельных радостей не ждате, не рассчитывать, однако отдельная комната, полное обеспечение, уважение, разумеется. С вашей стороны, дорогая Ксантиппа Ивановна, ведение домашнего хозяйства, хранение домашнего очага, то есть: стирка, готовка, уборка. Сыночка усыновлю, воспитаю наилучшим образом. Образование дам. О да, и музыка, и гимнастика... Ганимед легкобегающий, пахнущий оливковым маслом и молодым потом... Тише, тише, только не вспугнуть прекрасной мелодии. Постепенно, чудесным образом растет в доме нежный ребенок, превращается в отрока... дружок, ученик, возлюбленный... И в эти алкионовы дни он будет своим трудолюбивым клювом вить гнездо своего будущего счастья.

Антонина-кастелянша сначала растерялась: с чего бы это? Но счастье, как ветер, приходит и уходит, не отчитываясь. Ну, привалило: комната восемнадцать с половиной метров, с балконом, этаж пятый, окна во двор, дом шикарный, на улице Горького, в нем и актеры, и генералы, и кто хочешь. Все богато и прочно. Сам нежадный: на питание выдает щедро, да питание-то какое – из кремлевского распределителя, не велел никому рассказывать. И сдачи никогда не спрашивает. Чистоплотный – белье меняет раз в три дня, а носки чуть не каждый день. В ванной полощется, как утка, а в бане по субботам все равно полдня проводит. Ходит чисто и ботинки сам трет, и брюки сам гладит. Вы, говорит, так не сможете. Подружкам, которые уж очень интересовались, со всей простотой отвечала: насчет того-этого, нет, не скажу. Да я живого-то... уж сколько лет не видала, и да ну его совсем, я

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya.ludmila.ru](http://ulitskaya.ludmila.ru) уж и так привыкла. Пряма даже не знаю, за что так повезло, со Славкой возится, как отец родной. Хотя, правду сказать, со мной-то он больше молчком молчит. Да и о чем ему со мной-то разговаривать, если подумать-то? А уж культурный, одно слово сказать, профессор...

В последнем, надо сказать, она не ошибалась: был и культурным, и профессором. Философы-античники, как и породистые собаки, плохо приживались на скудном пайке социализма. Но как раз Николай Романович нашел для себя грядочку, копал, поливал и унавоживал на ней кустик марксистско-ленинской эстетики, поскольку еще в канун революции успел завершить свое образование и даже едва не защитил диссертацию по теме «Сущность платоновской диалектики в интерпретации Альбина и Анонима». Вот это самое волшебное словечко «диалектика» и открыло перед Николаем Романовичем царские врата в новую жизнь, то есть в Социалистическую Академию, на должность преподавателя античной философии. В Академии он был единственным сотрудником, владевшим древнегреческим и латынью, и его постоянно использовали как «цитатчика» высокопоставленные начальники, включая и самого Луначарского, так что он десятилетиями теребил то Платона с Аристотелем, то Канта с Гегелем, отыскивая верное научное решение эстетических задач, в которых все эти домарковские ученые путались, как слепые кутята. Он так поднатерел в теории искусства и критериях художественности, что ни одно постановление ЦК ВКП (б) по части культуры и искусства без его участия не составлялось – хоть об опере Вано Мурадели «Великая дружба», хоть о «Катерине Измайловой» Шостаковича. Он нисколько не страдал от раздвоенности: гибкая диалектика, как опытный проводник в горах, извилисто проводила его по самым сомнительным местам.

Но все-таки служил Николай Романович – увы! – двум господам. Вторым его господином, властным и тайным, была его несчастная склонность к мужскому полу. С самых юных лет она давила ему на темечко, поднимала артериальное давление и вызывала тахикардию. Страшно нависала сто двадцать первая статья. Ни один враг народа, истинный или дутый, ни один оппортунист или оппозиционер не испытывал такого бездонного страха, как те, кто жил под угрозой этой с виду невзрачной статьи. Это было реальное, невыдуманное тайное общество мужчин, узнающих друг друга в толпе по тоске в глазах и настороженности в надбровьях, – вроде масонов с их тайными знаками и особыми рукопожатиями. Свинцовый век, пришедший на смену серебряному, разметал по свету утонченных юношей, порочных гимназистов и миловидных послушников, оставив для Николая Романовича и ему подобных опасные связи с алчными и жестокими молодыми людьми, с которыми ухо остро, потому что предадут, разоблачат, оклеветают, посадят... Лишь однажды в зрелой жизни Николая Романовича у него возникли длительные и глубокие отношения с молодым историком, мальчиком из хорошей семьи, погибшим на фронте, но прежде гибели совершенно измучившим Николая Романовича психопатически-издевательскими письмами, полными оскорбительных намеков.

Славочка открывал новую эру в жизни Николая Романовича. Заветная мечта профессора обещала исполниться: он вырастит себе возлюбленного, и любовь мудрого воспитателя принесет мальчику пользу – о да! – разумную пользу. Он вылепит из него свое подобие, вырастит нежно и целомудренно. Будет Николай Романович истинным педагогом, то есть рабом, не жалеющим своей жизни для охраны и воспитания возлюбленного.

«Клянусь собакой! – мысленно произносил Николай Романович, склоняясь над спящим мальчиком, проживавшим теперь в его квартире, правда, в материнской комнате, на обитой светло-оранжевым плюшем кушетке, в зыбком свете головастого торшера. – Все так и будет.»

– Голубчик ты мой, – шептал Николай Романович, подтыкая с боков одеяло.

В эти вечерние часы разрешено было Антонине Ивановне приложиться к рюмочке для сна. Под присмотром Николая Романовича, умеренно. И в самом деле был он педагогом, ничего из виду не выпускал.

В первый же год их семейной жизни Николай Романович отдал мальчика в музыкальную школу, на духовое отделение. Флейтиста из него не получилось, но в музыку он вошел, как в дом родной, дарование его как раз в том и заключалось, что слышал он музыку, как бог. Так что даже и в этой утонченной области получил себе Николай Романович партнера, отчим с пасынком ходили теперь вдвоем в консерваторию, наслаждаясь искусством, наименее пригодным для анализа его с классовых позиций.

Консерваторским завсегда тем лет примелькалась эта парочка – subtilный пожилой мужчина в крупных очках на мелочном личике и тоненький юноша с аккуратно постриженной светловолосой головой, в черном свитерке и выпущенным поверх круглого выреза воротом белой пионерской рубашки. Московские мелогомофилы – вот неразгаданная таинственная корреляция – корчились от зависти, когда Николай Романович покупал в буфете два лимонада и два пирожных. Но доносов на него не писали – слишком страшно жили.

Там, при консерватории, образовался в те годы некий круг посвященных, без обозначенных границ, но с узнаваемыми, заметными лицами. Кроме тайных единоверцев Николая Романовича и обыкновенных любителей к этому кружку примыкали, разумеется, и профессионалы. И некоторые Славочкины соученики по музыкальной школе. Например, девочка Женя, юная виолончелистка, приходила обыкновенно с папой или с мамой. Женя все шептала что-то Славе на ушко и тянула его за рукав в сторону, все в сторону...

– Милая девочка, – говорил Николай Романович своему питомцу, – но очень уж неудачной внешности...

Но это было не так. Внешность девочки была вполне приемлемая: темные глазки, кудряшки, бантик клетчатый. Просто сердце Николая Романовича на мгновение сжимала темная ревность. Ни к чему нам эти девочки. Впрочем, ему досталось все, о чем только мог мечтать Гумберт Гумберт: золотистое детство, обращающееся на глазах в юность, почтительная дружба ученика и полнейшая и доверчивая взаимность, заботливо выращенная гениальным, как оказалось, мастером нежных прикосновений, дуновений, скользящих движений.

На шестьдесят пятом году жизни в собственной постели во сне Николай Романович умер от закупорки сердечной аорты, как и упомянутый уже господин. Умер, насыщенный молодой любовью своего «голубчика», в полном согласии со своим «даймоном», так и не прочитав романа, наполненного высоковольтным током набоковского электричества, и не ощутив глубокого родства с его несчастным героем.

Осиротевший Славочка, к тому времени студент первого курса философского факультета МГУ, остался после смерти воспитателя в глубоком недоумении. Пока еще шли занятия, разбирали логику и пропедевтику диамата в старом здании философского факультета, что окнами выходил на анатомический театр Первого медицинского, было еще ничего, но потом настало летнее каникулярное время, которое Слава привык проводить с отчимом в пансионате в Пярну, и тут он впал в депрессию – залег в кабинете отчима, слушая его любимые пластинки и с трудом поднимаясь, чтобы перевернуть на вторую сторону или поставить новую.

Старый эстетик сыграл недобрую роль: голубчик его теперь не знал, как жить дальше, – без водителя он не умел. Друзей не было. Тщательно берегаемая тайна его отношений с отчимом ограждала его от остальных людей непроницаемой стеной. От матери он был далек. Он давно уже относился к ней точно, как Николай Романович: корректно и инструментально. Последние четыре года он вместе со своей оранжевой кушеткой пребывал в кабинете Николая Романовича, спасаясь от материнского храпа.

Наследство после отчима осталось по тем временам ошеломляюще огромное: стопочка сберегательных книжек, часть из которых была на предьявителя, часть именных, с завещанием на имя Славы. И одна, самая скромная серенькая книжечка на три тысячи рублей, завещана была Антонине Ивановне. Ее Слава вручил матери, которая руками всплеснула от радости. Не ожидала такого богатства и слетела с катушек: вместо разрешенной Николаем Романовичем стограммовой стопочки брала теперь четвертинку, да и не только вечером. Часам к девяти Антонина Ивановна засыпала, как обыкновенно, нерушимым сном, а Слава выходил на улицу пройтись, подышать густым бензиновым воздухом, посидеть на пыльной лавочке Тверского бульвара, неподалеку от самодеятельного шахматного клуба, куда стекались на ночь глядя фанатики клетчатой доски – пенсионеры и несостоявшиеся шахматные гении. Туда же забрела в один из душных вечеров и музыкальная девочка Женя.

Женя происходила из хорошей, насквозь музыкальной семьи, несущей свою музыкальность, как иные семьи несут наследственный недуг – гипертонию или диабет. В предках числились итальянская оперная певица, чешский органист,



Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru немецкий капельмейстер. Но главным Бахом в семье был Женин дедушка. Имя его и по сей день значится на почетной доске медалистов Московской консерватории, в компании Скрибина.

Композиторство дедушки не поднялось выше посредственного уровня, в духе времени и культуры тех лет. Модерн его зачаровал, но ни дерзости Дебюсси, ни оригинальности Мусоргского ему не было отпущено. Известен он был как исполнитель, виолончелист, как педагог и музыкальный деятель – председатель разнообразных музыкальных обществ и собраний, распределитель стипендий для бедных одаренных детей и вспомоществований для старых оркестрантов. Словом, он был настоящий русский интеллигент сборных кровей, без капли русской, между прочим. Семья была большая, все близко к музыке – старший брат его был скрипичный мастер, младший, неудачливый, – переписчиком нот.

Женя деда своего не знала: их разделяли три десятилетия, между которыми пролегли две мировые войны. Дед умер сорока двух лет, в один день с эрцгерцогом Фердинандом, то есть в начале Первой мировой войны, а она родилась в последний день Второй.

В качестве бунта или каприза в семье вдруг возникал какой-нибудь отступник дядя Лева, перекинувшийся в бухгалтеры, или тетя Вера, изменившая музыке с сельскохозяйственной наукой. Отступником был и отец Жени, Рудольф Петрович, соблазнившийся в свое время военной карьерой. Из-под своей полковничьей папахи он всю жизнь тосковал по музыке, болел ею, но инструмента не касался. Зато дочь свою он решил непременно вернуть к семейной традиции и определил на виолончель. И дом их, полный фотографий всяких великих с автографами, пыльных нот и непогребенных клавиров опер, наполнился живыми звуками гамм и упражнений. Женечка обещала стать настоящим исполнителем, и сам Даниил Шафран ее отметил и покровительствовал ей. Известность ее деда в музыкальном мире прибавляла ей привлекательности, но к тому же она обладала своим собственным трудолюбием и усидчивостью и с отроческого возраста проводила по многу часов, растопырив ноги и заключив между разведенными коленями малютку виолончель, ученическую игрушку. Она росла, и вместе с ней росло чудо – инструмент оказывался скоро послушен, едва тронешь его смычком, как он отзывался такими глубокими бархатными звуками, слаще которых не бывало. И разве можно было сравнить с широким и гибким голосом виолончели сухой и шероховатый голос скрипки, простоватость альта или однообразную меланхолию контрабаса...

В то лето она впервые осталась одна в городе, родители жили на даче, а она готовила свою первую концертную программу. Вечерами выходила на прогулку.

Встретившись случайно на лавочке Тверского бульвара, оба безмерно обрадовались. Каждый из них переживал период одиночества: Женя – временного, но очень остро, потому что первый раз в жизни осталась в доме одна, Слава, как ему казалось, окончательного и пожизненного. Но говорили они только о музыке. К тому же у них было и общее поле воспоминаний – музыкальная школа на Пушкинской площади, куда оба они так долго ходили и от которой теперь не осталось и следа. На ее месте высилось уродливое здание «Известий». Общие уроки сольфеджио, хоры, ученические концерты... Они проговорили до позднего вечера. Потом он проводил ее домой, на Спиридоновку, а дорогой, неожиданно для самого себя, сказал ей:

– А у меня отчим умер.

Эти слова он произнес вслух в первый раз и поразился тому, как они прозвучали. Как будто что-то изменилось в воздухе, и именно от произнесения этих слов Николай Романович умер окончательно.

Женя, что-то почуявшая, встrepенулась:

– Ты очень любил его?

– Он был мне больше, чем отец...

Это прозвучало так скорбно и благородно, что Николай Романович мог бы порадоваться.

– Бедненький! Я бы с ума сошла, если бы с папой что-нибудь такое случилось. – Она была так далека от смерти в свои восемнадцать лет, что даже слово «умер» не

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya@ludmila.ru](http://ulitskaya@ludmila.ru) умела произнести.

Она затрясла головой, отгоняя от себя смертную тень, и рот ее сморщился сочувствием, но сказала она детскую глупость:

– Давай мороженого съедим! Много-много...

– Да где же его в такое время взять? – улыбнулся Слава, тронутый столь полным сочувствием.

– У меня в холодильнике. Родители на даче, а я ничего другого не покупаю.

Мороженое было превосходным, с кусочками замороженной клубники или ледяными ягодами черной смородины, его приносила в кастрюльке с сухим льдом соседка снизу, работавшая в кафе «Север» официанткой. Воровали все, кому было чего украсть.

После мороженого Женя вынесла из отцовской комнаты торжественную пластинку в черно-белом конверте:

– Караян. Из Германии привезли. Ты такого Вагнера сроду не слышал.

Она благоговейно опустила на диск проигрывателя мерцающую пластинку. Оркестровая версия «Тристана и Изольды». Оркестр звучал так, как будто играли не люди, а демоны. Они прослушали ее два раза подряд, и под эту вздыбленную музыку, именно где-то в районе смерти Изольды, Женя влюбилась в Славу. Ни с кем, даже с отцом, не слушала она так хорошо, так совместно. И он всей душой к ней рванулся: такая милая, ласковая, глаза черные, умные, живые кудряшки трепещутся надо лбом...

– Какая мужская, крепкая музыка, – заметила Женя, когда Караян отгрохотал.

– О да, – согласился Слава, про себя удивляясь: как она может это понимать...

Во рту еще долго сохранялся вкус клубничного мороженого, зернышки ягод покалывали десну, и какой-то вкус остался и в душе от совместного переживания этой буйной густоокрашенной музыки.

Весь август он ходил к ней в гости. Поздними вечерами, когда спадала жара и на Тверском бульваре собирались ночные шахматисты, он возвращался домой в хорошем настроении – депрессия его проходила. Это сочетание ощущений ночного бульвара, Вагнера и тающего мороженого накрепко связалось с Женей.

Когда наступила осень и родители Жени вернулись в город, начались занятия и встречаться они стали реже, хотя каждый день подолгу разговаривали по телефону о концерте Рихтера, о чудном альбоме Сомова, который Слава купил в букинистическом на Арбате, следуя привычке покойного отчима прогуливаться с деньгами в кармане по антикварным и букинистическим. Николай Романович никогда не был настоящим коллекционером, но разбирался понемногу в изделиях материального мира – даром, что ли, был убежденным материалистом.

В конце лета Жене казалось, что у нее, наконец, начинается настоящий роман, но все почему-то застопорилось на хорошей дружеской ноте и никак не развивалось дальше, хотя Женя очень желала чего-то большего, чем маленькие кусочки мороженой клубники или ледяные ягоды черной смородины.

Слава чувствовал постоянное ожидание, исходящее от Жени, и слегка нервничал. Он очень дорожил их общением, благородным домом, куда он попал, да и самой Женей, чуткой и к литературе, и к музыке, и к нему, Славе. Влечения он к ней испытывал столько же, сколько к фонарному столбу. И с этим, кажется, ничего нельзя было поделать.

В свои девятнадцать лет он твердо знал, что относится к особой и редкой породе людей, обреченной таиться и прятаться, потому что мягонькие наросты, засунутые в тряпочные кульки, вызывают у него брезгливость и ассоциируются с большой белой свиньей, облепленной с нижней стороны сосущими поросятами, а само устройство женщин с этим волосным гнездом и вертикальным разрезом в таком неудачном месте представлялось ужасно неэстетичным. Сам ли он об этом догадался, или Николай Романович, эстетик, ему тонко внушил, не имело теперь значения. Женя ему очень

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая ulitskaya@ludmila.ru нравилась, и от одиночества она его спасала, но физическая тоска его не уходила, а только нарастала.

Простившись с Женей, он садился обыкновенно на Тверском бульваре неподалеку от шахматистов на одну и ту же лавочку и разглядывал редких прохожих с робким мысленным вопросом: он? не он? Однажды рослый красивый блондин посмотрел на него внимательно, и он весь напрягся, потому что ему показалось, что взгляд этот был особо содержательным. Но тот прошел мимо, оставив Славу в сладком поту, с сердцебиением. Странно, но сердце его словно вторило тому, страдающему стенокардией.

«И в этом мы тоже похожи, – констатировал Слава. – Меломаны, сердечники, эстеты...»

Он заблуждался, истинная картина была значительно сложнее, но заблуждение такого рода вполне понятно: эпоха суперменов в кожаных одеждах и металлических цепочках, гомосексуалистов с накачанными шарами мышц, высокомерно и презрительно вззирающих на «натуралов», еще не наступила, ковбои же воспринимались как секс-символ, желанный для женской половины мира, дырчатых алчных созданий, а не как коровьи мальчишки, пастухи с задницами, разбитыми грубыми седлами, предающиеся однополый любви за полным отсутствием баб в округе...

Слава весь принадлежал античности в том романтическом виде, какой она представлялась поверхностным ученым девятнадцатого века – ведь и сам Маркс что-то бормотал о «золотом детстве человечества».

Вероятно, с огромного расстояния в несколько тысяч лет картина исказилась, и самое кровавое и разнузданное язычество, с его ярким политеизмом, в котором все сущее обожествлялось, одухотворялось и пускалось во все тяжкие – нимфы, наяды, сатиры, самые мелочные боги луж и придорожных канав, а также лебеди, коровы, орлы, пастухи и пастушки устраивали непрерывную оргию не ограниченного ни в чем совокупления – и все это содрогающееся язычество почему-то называлось античным материализмом. В этом заблуждении и состояла вера Николая Романовича, он передал ее в полном объеме своему воспитаннику вместе со своим сугубо личным пристрастием, которое он прививал осторожно и терпеливо с помощью опытных пальцев, нежного, в пронизательных вкусовых сосочках, языка и старенького увядшего копья.

У гениального учителя оказался гениальный ученик, и он теперь изнемогал всем своим сверхчувствительным телом от нерастворимого одиночества: тосковали светлые тугие волосы, тосковал рот, грудь и живот, бедра и ягодицы. И райский сад, и роза Содомы, как говорил Николай Романович. Да, да... Форель разбивает лед...

В начале октября, в один из темных, но еще теплых вечеров затянувшегося бабьего лета Слава высидел себе на Тверском бульваре нового учителя. От группы темных фигур, сгрудившихся под фонарем, освежавшим шахматные доски, к нему подошел человек лет сорока в холщовой кепочке, с красивым лицом, которое могло быть еврейским, в клетчатой старомодной ковбойке. Сняв кепку с раздутого луковкой черепа, присел на край развалистой скамьи. Он весь был как будто под давлением – глаза слегка вылезали из орбит, а щетина перла со страшной силой так густо, что только на носу оставалась незаросшая поляна. Николай Романович, напротив, всегда слегка проминался, как подспущенный баллон. Подошедший уперся волосатыми кулаками в край скамьи и обратился к Славе очень свободно:

– Ваше лицо мне знакомо. Вы, простите, в шахматы не играете?

Сердце заколотилось неровно, заплясало под дурную музыку: он?

– Играю немного.

Человек засмеялся:

– Немного даже моя бабушка играла... Так, по крайней мере, она думала. Сейчас мы это проверим.

Человек вынул из кармана маленький кожаный ящичек, раскрыл. Фигуры были расставлены – остренькие штыри крепились в прорезях кожаной доски.

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [litskaya.ludmila.ru](http://litskaya.ludmila.ru)  
– Ваш ход.

Руки у Славы тряслись так, что он еле-еле смог ухватить шахматную фигуру. Он сделал первый ход E2 – E4... И успокоился. Сомнений не было: это был он. Шахматист выдернул легонько черную пешку на острой ножке, задержал ее между большим и средним пальцем, пробормотал:

– Так рано стало темнеть... – и вонзил пешечку в светлый квадратик.

В тот вечер шахматисту показалось, что глаза у Славы зеркально-черные, как вошедшие в моду солнечные очки, но это впечатление было ошибочным, просто зрачки были так расширены, что голубая радужная оболочка сплющилась по окружности глаза.

– Давайте-ка эту партию доиграем у меня дома... Уж больно темно.

Шахматист сложил шахматы, нахлобучил кепочку, и они пошли на троллейбус. Слава не спрашивал, далеко ли ехать. Его колотило от предчувствия, а шахматист время от времени клал ему руку то на плечо, то на колено. Доехали до Цветного бульвара, там вышли и завернули в какой-то глухой переулок. Зашли в запущенный подъезд трехэтажного дома, и, пока поднимались по лестнице, шахматист сказал, что живет с мамой, что мама была в молодости красавицей, актрисой, а теперь почти слепая и совершенно безумная.

Квартира оказалась маленькой и очень грязной. Время от времени мама подавала за стеной недовольный голос, а потом запела романс. Партию не доигрывали. Потому что была любовь. Сильная мужская любовь, о которой прежде Слава смутно догадывался. Пахло вазелином и кровью. Это было то самое, чего хотелось Славе и чего Николай Романович не мог ему дать. Брачная ночь, ночь посвящения и такого наслаждения, что никакой музыке и не снилось. У Славы началась новая жизнь...

Хоронили Валиту за казенный счет. С уверенностью никто не знает, хоронили ли вообще. Возможно, разъяли на органы, залили их формалином и отдали на растерзание тем студентам, которые окнами выходят на философов. Или другим. Но это маловероятно. Экспертиза установила, что тело пролежало дней пятнадцать – семнадцать, прежде чем было обнаружено в укромном уголке Измайловского парка гражданином спортивного вида, прогуливавшим фокстерьера.

Почему Евгения Рудольфовна подала в розыск, трудно объяснить. За сорок с лишним лет их знакомства он пропадал много раз, на разные сроки. Особенно длинным был первый. Сначала ему дали пять лет, а уж там еще добавляли, так что исчез он тогда почти на десять. Это было не по своей воле. Потом объявился, но уже не Славой, а Валитой. Такое образовалось у него прозвище. Он Евгении Рудольфовне кое-что рассказывал, но ничего такого, что могло бы ее напугать или смутить. Он ее в некотором смысле берег.

Она не то чтобы Славу любила, нет, конечно, но она любила воспоминания своей молодости и помнила, как была влюблена в светлого одухотворенного мальчика, как слушали они музыку и как страдал он от несовершенства тогдашней звукозаписи: у Караяна шесть пиано и восемь форте, а здесь все слипается... Жалко было этого бедолагу, изгоя, лишившегося всего, чего только можно было лишиться: имущества, зубов, светлых волос и московской прописки, которую он, впрочем, вырвал из зубов у жизни, женившись на какой-то пропадающей алкашке, и прописался к ней на улицу с ласковым названием Олений вал. Осталось у него от всех его богатств только редкое дарование слышать музыку да барские руки с овальными ногтями.

Вот уже много лет, как приходил он к Евгении Рудольфовне в театр, в обширный ее кабинет с медной табличкой «Завмуз» на солидной двери. И сотрудники его знали, и гардеробщицы пускали. Обычно она давала ему немного денег, варила кофе и доставала из дальнего уголка шкафа шоколадные конфеты. Он был сладкоежка. Иногда, когда было время, она ставила ему какую-нибудь музыку. Впрочем, он признался, что музыки давно уже не любит – любит только звуки. Она не совсем поняла, что он имеет в виду. В этой области он разбирался лучше, чем она, заведующая музыкальной частью известнейшего московского театра. Бесспорно. И она это отлично знала.

Сидел он в кабинете недолго, стеснялся сам себя, как стеснялась себя когда-то

Пиковая Дама и другие. Людмила Евгеньевна Улицкая [ulitskaya1udmila.ru](http://ulitskaya1udmila.ru)  
его покойная матушка Антонина Ивановна.

Месяца два он не заходил, и Евгения Рудольфовна его не вспоминала. Как-то в субботу вечером пошла в консерваторию. Играли 115-й опус Брамса, кларнетный квинтет, невысказанно трудный для исполнения. В последней части, когда уже почти душа вон, просто в поднебесье улетаешь, вспомнила Славу. Как он со своей блокфлейтой в маленьком угловом классе занимался с преподавательницей Ксенией Феофановной, толстой дамой в шелковом балахоне, краснолицей и грубой, а она, Женя, влетела почему-то в класс и остановилась в испуге от собственной наглости... Сорок лет назад, в музыкальной школе, от которой ни кирпичика... Брамс кончился, и с последними звуками она почувствовала, что Славы больше нет.

Сделала запрос через справочную. Славу не обнаружили ни на Оленьем валу, ни на какой другой улице, и она позвонила в милицию. С ней разговаривали грубо, но через день вызвали ее сами, на опознание. Опознавать там было нечего. Это было какое-то черное тряпье, почти земля, очень страшная земля. Только рука была человеческая, с овальными благородными ногтями.

Потом разговаривала со следователем. Следователь был немолодой, одутловатый и знал так много, что можно было бы и поменьше. Он не получил от Евгении Рудольфовны ничего для себя интересного. Преступление было из тех, которое раскрыть было несложно, но гомосексуальными убийствами милиция не особенно интересовалась. Они копилась, копилась, а потом их вешали на какого-нибудь маньяка из числа пойманных. Да и кому, кроме маньяка, нужно было убивать Валиту, человека, у которого ничего не было, кроме безумной жажды быть любимым... быть любимым мужчиной... любимым мужчиной...

Дома Евгения Рудольфовна долго рылась в детских фотографиях и нашла ту, которую искала. На остальных была девочка Женя с виолончелью. А на этой снят зал во время школьного концерта. Рудольф Петрович снимал. Во втором ряду хорошо видны они оба – Николай Романович в сером костюме и в полосатом галстуке и двенадцатилетний Славочка в белой пионерской рубашке с расстегнутой верхней пуговкой. Такое милое лицо, светленький такой, голубчик... И как его Николай Романович любил. Как любил...

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://ulitskaya1udmila.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!